



АЛТАЙСКИЕ СКАЗКИ

Издательство „Детская литература“

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



АЛТАЙСКИЕ СКАЗКИ



*Записали и пересказали
для детей*

АННА ГАРФ
и
ПАВЕЛ КУЧИЯК

Рисунки
Н. ЦЕЙТЛИНА



Москва „Детская литература“ 1974

Знаете ли вы, кто первый запекает в лесу весеннюю песенку; отчего у зайца зимой кончики ушей остаются чёрными, а у бурундука шубка полосатая?

О зверях, о птицах, о золотых тюльпанах и синих кедрах, о дивных красавицах и богатырях своей земли сложили чудесные сказки алтайцы, что живут на юге Западной Сибири в верховьях реки Обь.

Эти сказки впервые, ещё в 1936 году, записали со слов сказителей Анна Гарф и Павел Кучийк.

До революции у алтайцев не было письменности.

Павел Васильевич Кучийк (1897—1943) — первый алтайский писатель. Он писал свои стихи, рассказы и повести на родном языке.

Повести, рассказы и очерки Анны Львовны Гарф давно известны детям и юношеству. Но больше всего она любит сказки. Много труда и любви вложила писательница в создание этой книги.

Третье издание сборника «Алтайские сказки» (первое издание — в 1939 г., второе — в 1966 г.) дополнено новыми, ранее не печатавшимися сказками.

Вступление и заключение
АННЫ ГАРФ



ПРО ДЕДА И БАБУШКУ, ПРО СИНЮЮ КОРОВУ И КАВАРГУ-ЛАКОМКУ *

У опушки чёрного леса, на берегу быстрой реки, возле пушистых лиственниц стоял маленький, крытый корьём шалаш — айл. В шалаше жили дед и бабушка. Деда звали Коголдэй-мергён, бабушку — Ялакэй-алтын. Оба они под старость, словно зайцы к зиме, совсем побелели.

Никого, ничего у них не было, только синяя корова. Бабушка корову доила, молоко заквашивала, твёрдый алтайский сыр — курут над костром кошила. Дедушка острым ножом вырезал из

берёзового пароста славные чашки-чойчбёйки, красивым узором их украшал.

Синяя корова летом паслась на лесной поляне, а зимой вместе с дедом и бабушкой в шалаше жила.

Долгими осенними ночами, у жаркого костра, старик сказки пел, песни свистал. Голос его то журчал переливчато, как горный ручей, то громом гремел, то звенел нежно, будто кукование кукушки ранней весной.

Старуха при свете костра шкуры звериные мяла, чтобы одежда, из них пошитая, мягкой, лёгкой была. Разминная шкуры, сказки слушала.

И сказки эти так гладко текли, что из полусонного чёрного леса, с каменных россыпей чуткая кабарга прибегала деда послушать. Свет костра белел на её длинных клыках,— всю ночь, бывало, у шалаша стоит слушает.

Но вот однажды кабарга и днём о сказках вспомнила. Осторожно тонкими ногами перебирая, спустилась она к шалашу. Там стоял котёл, полный молока. Кабарга заглянула в котёл, понюхала и сама не заметила, как всё молоко выпила!

— Ох, вкусно... Однако, так наевшись, далеко не убежишь.

И кабарга прилегла отдохнуть в тени лиственниц.

Вернулась старуха домой, хотела молоко вскипятить, а котёл пустой! Старуха даже руки подняла:

— Шестьдесят лет под этим шалашом живём, такого не случилось. Кто молоко выпил?

От стыда мигом вскочила кабарга, без оглядки умчалась. На высокие скалы, на горные уступы взобралась, куда и когтистому зверю не подняться. На холодные острые камни прыгнула, куда и крылатой птице не залететь.

Весь день, всю долгую ночь бродила в горах кабарга... Под утро снова лёгким шагом пришла к шалашу, опять молоко выпила и умчалась в горы.

Рассердились старики, воткнули в землю три песта и поставили котёл на эти песты.

Когда старик ушёл на охоту, а старуха погнала на луг

синюю корову, кабарга прибежала к шалашу. Увидала — котёл поднят высоко, губами пожевала:

— Биш-ш-ш-ш... — Головой повела: — Пш-ш-ш, меня старики испугались, молоко вон куда поставили!

Стукнула передними копытами по шестам, котёл качнулся, и молоко выплеснулось кабарге на спину. Серая спина покрывалась молочными пятнами.

Сколько по земле каталась кабарга! Сколько о камни тёрлась! Нет, белые пятна стереть невозможно.

Стыдась этой отметины, кабарга теперь всегда к серым камням жмётся, в непроходимой чаще прячется. А всё же осенними вечерами, как только заведёт старик Коголдей-мерген горловую свистящую песню, не вытерпит кабарга, с каменных россыпей, с высоких скал спустится и, притаясь в тени деревьев, уши насторожит, не шевелясь стоит слушает.

И нам тоже дедушку Коголдей-мергена довелось послушать, молока синей коровы попить, бабушкиного копчёного сыра-курута отведать.

Сколько раз, бывало, вместе с алтайским поэтом Павлом Кучийком мы к дедушкиному шалашу верхом приезжали. Ставили свой шалаш рядом с его шалашом. Ранним утром слушали мы голоса птиц, днём ходили звериными тропами; притаясь, смотрели, как маленький сыгырган-сеноставец режет острыми зубами высокую траву и, высушив, собирает в стога. Мы видели, как, сложив на груди лапы, беззаботно спят, пригревшись на солнышке, пушистые барсучата. Любовались листьями, когда они, играючи, гонялись друг за дружкой по лесной поляне.

К костру деда Коголдей-мергена и бабушки Ялакай-алтын приходили охотники, пастухи, молодые колхозники...

Здесь, у этого костра, нам посчастливилось услышать знаменитого на Алтае слепого певца старика Улагашева, известного сказителя Сабапкина, слепую девушку-сказочницу Казак Какпёву, молодого колхозника-весельчака и замечательного рассказчика Кыргызакова...

И вот однажды заседлали мы двух лошадей, каждой повесили на шею литой медный колоколец-ботало, чтобы слышно было, где ходят, когда пустим их на ночь пастись. Захватили с собой дорожные охотничьи мешки — арчимáки, взяли винтовку, одну на двоих, и выехали в долины и горы Алтая.

На кедрах уже как свинцом налились, потяжелели большие, с кулак, синие шишки. Тонкая, будто вырезанная из бумаги, хвоя лиственниц пожелтела.

Кучияк сказал:

— Богатырь, нам с вами ещё неведомый, пил из золотой чойчайки золотистое вино и, захмелев, расплескал его по всему Алтаю...

И правда, той осенью Алтай стоял весь золотой, только кедры остались синими.

Семь дней мы верхом пробирались по горной лесной тропе, по краю обрыва ехали, частые ручьи переходили. Мелкими, каменистыми бродами шли. На восьмой день у опушки чёрного леса, на берегу быстрой реки, под мохнатыми, пожелтевшими лиственницами спешили. Стреножили коней, а сами поспешили к шалашу. Подошли, а там нет никого. Ни деда, ни бабушки, ни синей коровы. Кабаргожьи следы вели к трём покосившимся пестам, обратного следа мы не нашли. Зола белела на месте костра, покрытый ржавчиной топор лежал рядом с красным, упавшим на землю стволом высохшей лиственницы.

Этим топором Кучияк стесал кусок коры с жерди под навесом и карандашом написал по-алтайски:

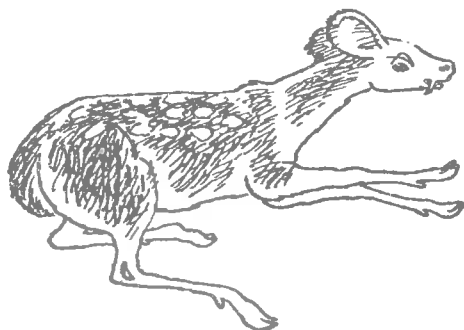
Оседлав коней, два охотника в путь тронулись,
Полные сумы сказок они добыли.
С намеченного пути сбились,
В этот шалаш забрели, здесь отдыхали.

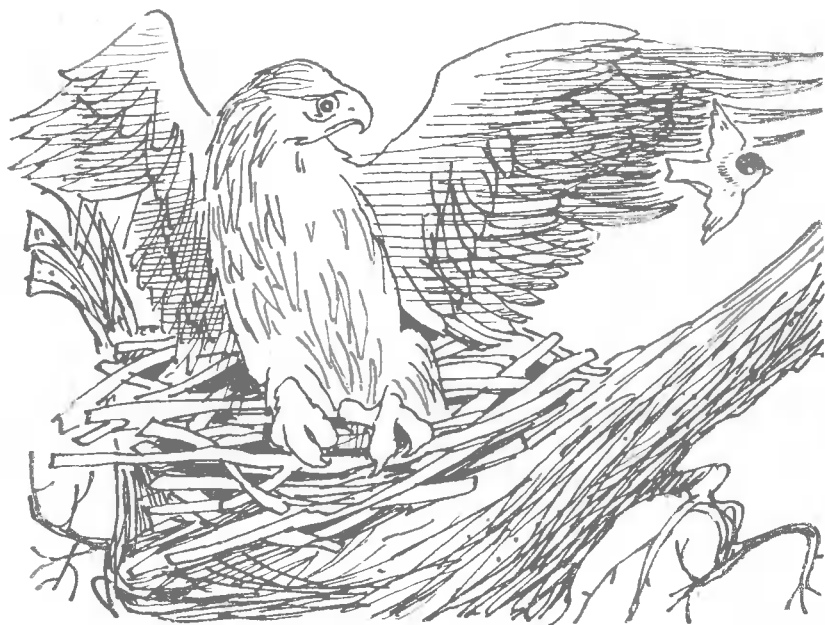
До свидания, неизвестный охотник!
Пусть шалаш ваш никогда не разрушится,
Пусть арчимáки ваши будут добычей полны,
Пусть трубка ваша всегда дымится.

...Уже давно нет в живых алтайского поэта Павла Кучияка. Нет всеми на Алтае почитаемого старика Улагашева. Не возьмёт в руки топшуур, с двумя струнами из конского волоса, прославленный Сабашкин. Не услышим мы Казак Какпоеву, не приложит она к губам маленький, изогнутый наподобие подковы комыс, не сыграет на нём песню летящих в небе серых гусей. Не придёт к лесному костру колхозник Кыргызаков, чтобы самому посмеяться и нас посмешишь озорными шутками-прибаутками...

Но сказки живут! Их сберегли, передавая друг другу из уст в уста, не знавшие грамоты пастухи и охотники.

Много лет назад мы с поэтом Павлом Кучияком записали до того никем ещё не записанные устные предания алтайцев. А теперь, дорогие друзья, хочу вам рассказать их, чтобы и вы тоже этим сказкам порадовались и полюбили алтайский край и людей Алтая.





ДИТ-КЕЛЬ*

В старину, в далёкую старину, все птицы жили на юге, и весной на Алтае пели только горные ручьи и реки.

Однажды эту весеннюю песню воды принёс в тёплые края северный ветер. Всполошились птицы:

— Кто так славно поёт, кто звенит, ни днём ни ночью не умолкая? Какая радость случилась, какое счастье пришло на Алтай?

Однако лететь в неведомую землю было страшно.

Напрасно уговаривал беркут скворцов и трясогузок, дроздов и кукушек. Отказались пуститься на север мудрые совы, неж-

ные зяблики, серые гуси, свирепый ястреб. Даже благородный сокол собратся в дорогу не решился.

Лишь синичка отважилась. Взмахнула крыльями и полетела.

— Слушай, — крикнул ей вдогонку беркут, — если там хорошо, возвращайся скорей, покажи всем птицам дорогу!

— Цици-вю, цици-вю, цици-вю! — засвистала синица. — Вернусь-вернусь-вернусь! Цици-фюить!

Летела синичка над морями и долинами, над лесами и реками. Сначала спешила-торопилась, часто-часто перебирала крыльями, потом всё медленнее, медленнее... Живот у неё озяб, крылья ослабели... И когда уж совсем обессилела, увидела холмистые алтайские горы. В лучах восходящего солнца Алтай стоял весь розовый. Сверкали, будто огнём охваченные, холмы и долины.

— О, какой большой костёр! — сказала синичка. — Уж лучше сгореть, чем замёрзнуть...

Сложила она крылья и ушла. Но не в огонь, а на снег.

Снега синица не знала, испугалась: «Умру я сейчас...» Голову склонила и увидела на белом снегу ягодку-рябинку прошлогоднюю. А рядом на пенёчке, в трещине, спала личинка, завёрнутая в сто паутинок.

Клюнула синица разок, клюнула другой, и сердце у неёзыграло, живот согрелся, голова лёгкая стала!

С каждым днём залетала она в лес всё дальше, еды находила всё больше. Хорошо, оказывается, жить здесь, на Алтае.

И слово своё «вернусь-вернусь-вернусь» синица забыла.

Забыла, для чего сюда летела, кто послал её в этот обильный край; где родилась, и то уже не помнит.

Но вот однажды зашатались деревья от ветра, почернело небо от птичьих крыльев. Это прилетело птичье войско.

Впереди всех грозный беркут.

Опомнилась синица, испугалась. А беркут уже кружит над ней:

— Хорошо ли живёшь, синица?

Молчит она, даже хвостик не трещет.

— Почему к нам не вернулась? — спрашивает беркут. — Почему всех птиц в этот богатый край не позвала?

Голову синичка опустила, слова сказать не может, оправдаться не смеет.

Тихо-тихо стало в лесу, и синичка услышала теньканье первой весенней капли. Встрепенулась синичка, зашела, откуда голос такой звонкий взялся:

— Дил-кель!.. Дил-кель!.. Весна, приди! Весна, приди! Кланяюсь вам до земли, великий беркут! Посмотрите, в этом краю лёд в семь рядов лежит, снег из семидесяти семи туч падает. Я одна тут с зимой спорю, весну зову: «Дил-кель!.. Дил-кель!.. Весна, приди! Весна, приди!» Это по моей просьбе тёплый ветер подул, белый снег потемнел. Сама за вами лететь собиралась, да недосут, весеннюю песню оборвать нельзя. «Дил-кель!.. Дил-кель!.. Весна, приди, приди!» Цици-вю, цици-вю! Цок-цок-цок! Цици-фюить! Слушайте, слушайте, великий беркут, смотрите, смотрите! Дил-кель!.. Дил-кель!.. — звенела синица. — Весна, приди!

И там, где слышалась эта песенка, снег таял, просыпались ручьи и реки, лопались на деревьях тугие почки.

— Ладно, — засмеялся беркут, — на этот раз прощаю тебя, лёгкая головунка. Через год видно будет, правду ли ты говоришь.

Вот с тех пор, чтобы обман не раскрылся, синица раньше всех в лесу запекает весеннюю песнь, а за ней начинают петь и другие птицы.





МАЛЫШ РЫСТУ*

Далеко-далеко, там, где небо с землёй сливается, на подоле синей горы, на берегу молочного озера, жил мальчик. Ростом он был с козлёнка. Из двух беличьих шкурок мальчик спил себе шапку, из козьего меха — мягкие сапожки. Лицо у него было как луна круглое, и никогда он не плакал.

Язык птиц и зверей мальчик хорошо понимал, пчёл и кузнечиков внимательно слушал. Он и сам то зажужжит, то застрекочет, то как птица защебечет, то засмеётся как родник. Дунет мальчик в сухой стебель — стебелёк поёт, тронет мальчик пальцем паутинку — она звенит.

Вот однажды ехал мимо молочного озера Ак-каан верхом на рыжем коне. Услыхал Ак-каан нежный звон.

«Это не птица поёт, не ручей бежит»,— подумал Ак-каан.

Перегнулся он через седло, раздвинул кусты и увидел круглолицего мальчика.

Малыш сидел на корточках, дул в сухой стебель, и стебель пел, словно золотая свирель.

— Как тебя зовут, дитя?

— Моё имя Рыстú — Счастливый.

— Кто твой отец? Где мать? Кто тебя кормит, поит?

— Отец мой — синяя гора, мать моя — молочное озеро.

— Хочешь быть моим любимым дитятей, Рысту? Я сошью тебе соболью шубу, покрою её чистым шёлком, дам тебе проворного иноходца, подарю серебряную свирель. Садись, малыш, на круп моего коня, обними меня покрепче, и мы полетим быстрее ветра к моему белому шатру.

Рысту прыгнул на круп коня, обнял Ак-каана, и конь помчался быстрее ветра.

Было у Ак-каана двое детей: сын Кез-кичинёк и дочь Ка-ра-чáч.

Услыхали они ржание коня, выбежали навстречу отцу, стремя поддержали, коня расседлать помогли.

— Что ты привёз нам, отец?

Ак-каан схватил Рысту за шиворот, поставил его перед своими детьми:

— Вот какой привёз вам подарок! Дайте ему серебряную свирель, и он будет играть вам песенки днём и ночью.

Но Рысту играть на серебряной свирели не захотел. Он от обиды слова вымолвить не мог.

— Не хочешь моих деток потешить,— рассердился каан,— будешь, непокорный мальчишка, мой белый скот пасти!

И вот днём без отдыха, ночью без сна перегонял малыш Рысту стада с пастбища на пастбище туда, где трава слаще, где вода чище.

Летом солнце нещадно жгло малыша, зимой мороз пробирал

до костей. Мягкие его сапожки скоробились, лёгкая шубка при-сохла к плечам. Глаза научились слёзы лить. Но никто ему слёз не отёр, никто вместе с ним не заплакал.

Однажды летним днём зацепился малыш сапожком за сухой корень, споткнулся, упал лицом в траву, а встать не может, ослаб... Так лежал он в траве и вдруг слышит — муравьи говорят:

— Когда зтот Рысту на синей горе у молочного озера жил, он плакать не умел.

— О чём же так горько он теперь плачет?

— Ноги его стёртые болят, руки его натруженные устали.

— Да, тяжело ему день и ночь за стадом ходить.

— А сказал бы Рысту, как перепел детям своим говорит: «Пып!» — п коровы, как перепелята, не сдвинулись бы с места.

— А крикнул бы он, как коростель кричит: «Тап-тажлân!» — и коровы поиграли бы с ним на лугу.

— Пып! — молвил Рысту по-перепелиному.

Коровы тут же легли.

— Тап-тажлан!

Коровы поднялись с травы, плясать начали.

Теперь малыш повеселел. Он сидел на берегу реки и щебетал, играя с береговыми ласточками. А коровы песни пели и плясали на лугу.

Узнал об этих забавах Ак-каан, как туча посинел, как гром загремел:

— Коров пасти не хочешь? Будешь масло сбивать!

Поставили малыша к большому чану с молоком, дали в руки длинную палку-мутовку и заставили крутить её день и ночь. Руки мальчика отдыха не знали, сомкнуть глаза он ни на миг не смел.

Семья каана, гости, даже слуги ели лепёшки с маслом, а малыш Рысту и сухой лепёшки не видал.

— Хочешь, угощу? — смеялась Кара-чач. — Сыграй на серебряной свирели! Вот лепёшка, вот свирель.

— Это я принёс свирель! — закричал Кез-кичинец.

— Нет, я! — крикнула девочка и вцепилась брату в волосы,

Кез-кичинец размахнулся, хотел было ударить сестру, но Рысту сказал:

— Пып!

И рука девочки прилипла к волосам брата, рука мальчика — к плечу сестры.

— Что с вами, дети мои? — заплакала мать, обнимая сына и дочку. — Почему такая беда с вами случилась? Лучше бы этот мальчишка прилип к своей палке-мутовке.

— Пып! — тихонько прошептал Рысту, и каанша прилипла к своим детям.

— Что случилось? Почему все плачут, а ты один смеёшься, непокорный Рысту? — рассердился каан. — Отвечай, что с моими детьми? Не ответишь — голову твою отрублю, сердце твоё проколю!

— Пып!

И каан остался стоять рядом со своей женой: в одной руке пика, в другой нож.

А мальыш Рысту бросил палку-мутовку, толкнул ногой большой чан, срезал сухой стебелёк, дунул в него и запел.

Слушая эту песенку, каан дрожал, как мышь, каанша стонала, как большая лягушка, дети тихо плакали.

Пожалел их малыш, правую руку вверх поднял, его круглое лицо заалело.

— Тап-тажлан! — крикнул он.

Каан, каанша, Кез-кичинец, Кара-чач — все четверо в ладоши захлопали, ногами затопали, приплясывая, из аила выскочили.

А счастливый Рысту шагнул через золотой порог, на золотой ханский помост взошёл.

Один раз поскользнулся, в другой кувыркнулся, рассердился на самого себя, самому себе «Пып!» сказал и тут же к золотому помосту прилип.

Посидел-посидел, кругом поглядел — белый чистый войлок ханского шатра туго натянут на прочные жерди.

Небо только через дымоходное отверстие увидеть можно — маленький синий клочок, величиной с ладонь.

Душно стало счастливому Рысту в белом ханском шатре на золотом помосте.

— Тап-тажлан!

Помост подпрыгнул, малыш к дымоходному отверстию подскочил, наружу выскочил, на землю упал, встал и побежал к молочному озеру, к синей горе. Из озера молока ладонью зачерпнул, напился. На синей горе шалаш себе поставил.

В том шалаше малыш Рысту и поныне живёт. Поёт свои счастливые песни, играет на стеблях цветов, будто на свирели, паутинные нити пальцами перебирает, и паутинки в ответ тихим звоном звенят.

Эти песни, посвист, звон каждый может услышать, кто к тому месту, к той черте, где небо с землёй сливается, подойдёт.





КРАСНАЯ ЛИСА И СЫГЫРГАН-СЕНОСТАВЕЦ*

На каменной россыпи у светлого ручья, в щели меж двух валунов, жил маленький сыгырган-сенокосец.

Вместе со своими соседями-сыгырганами он резал зубами траву, сушил её на камнях и ставил в стога.

А повыше стойбища сенокосцев жила горная красная лиса.

Вот однажды в пасмурный день вышла она на охоту. Услыхал сыгырган-малыш осторожные лисьи шаги, почуял запах, головой повертел да как крикнет:

— Сыйт! Сыйт! Лиса идёт!

Сеноставцы юркнули в щели и норы, осталась на каменной россыпи лишь сухая трава.

Понюхала лиса стожок, другой и чуть не заплакала:

— Ещё ни одна лиса сеном не кормилась, неужто я буду первая?

Выдернула клочок, пожевала, а проглотить не может, только язык оцарапала да в горле запершило.

«А всё из-за этого пищухи, из-за этого крикуна,— рассердилась лиса.— Погоди-погоди! Съем я тебя и всю семью твою».

Подопшла к щели меж двух валунов и заверещала ласково:

— Ияу-у, какой старательный хозяин здесь живёт, как ровно он траву нарезал, как хорошо просушил её, как ловко стога сметал! На всей россыпи не найдёшь стогов лучше, даже человек мог бы у этого сеноставца поучиться. Вот было бы счастье на такого умницу хотя бы одним глазком взглянуть!

Слыша эти похвалы, сыгырган в своей норе спокойно лежать не может, он с боку на бок ворочается, вздыхает даже.

А лиса ещё умильней тивкает:

— Неужто я никогда этого расторопного молодца не увижу? Ах, как приятно было бы с ним побеседовать...

Не вытерпел сыгырган, высунул мордочку из норки.

— И-и-и,— улыбнулась лиса,— как он с лица-то хорош! Взглянуть бы и на спинку. Говорят, со спины он ещё краше.

Сыгырган спрятал голову, выставил спинку.

Тут лиса и схватила его! Сыгырган даже крикнуть не успел.

Бежит лиса к себе в горы, своих деток сеноставцем угостить спешит. Крепко сеноставец зубами лисьими прижат.

Плачет, бедняга, приговаривает:

— Ох, несчастный мой отец, бедная мать...

Услыхала сорока этот громкий плач, распахнула она свою чёрную шубу с белой оторочкой, полетела следом за лисой и застрекотала:

— Сам-сам ты, сыгырган, лисе в зубы полез. О чём-чём-чём же ты теперь плачешь?

— Как мне не плакать, слёз не лить? Отец и мать меня все-

гда просили, уговаривали: «Не оставляй нас, сынок. Куда бы ты ни вздумал поехать, бери и нас». И вот видишь, сорока, случилось так, что сам я в горы еду, а родителей дома оставил. Никогда мне этого отец с матерью не простят. Всю жизнь они на меня будут в обиде.

Остановилась лиса и, не выпуская сенокосца, пробормотала:

— Я могу и штарики твоих взять. Где они?

— Тут близёхонько, вот в тех камушках.

— Пожови их шкорей! — сказала лиса и разжала зубы.

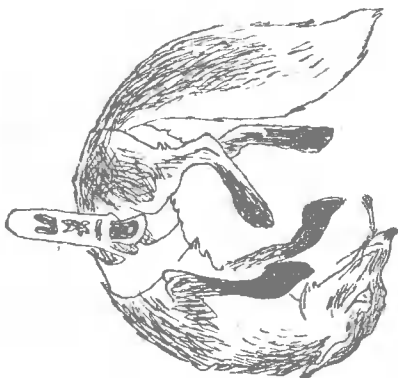
— Сыйт! Сыйт! — крикнул сенокосец и юркнул в щель между камней.

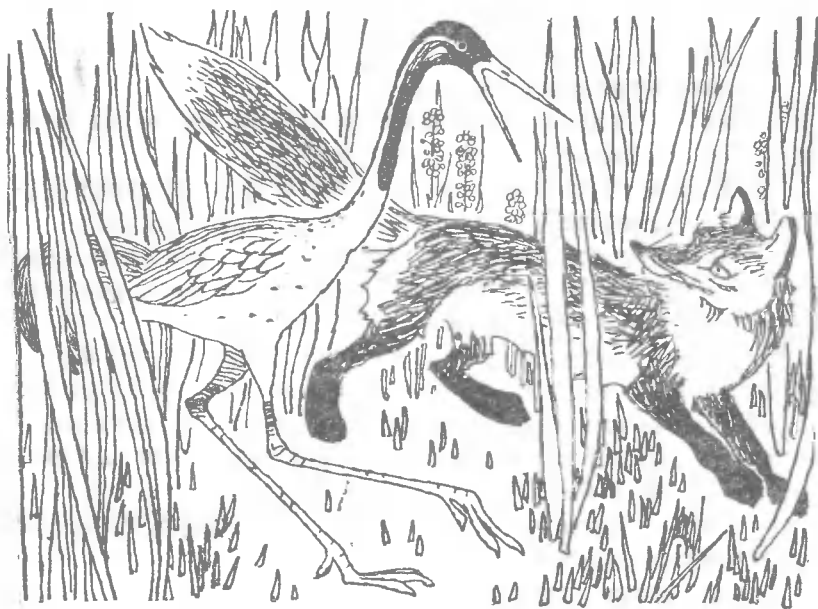
Спохватилась лиса, успела поймать сытыргана за хвост. Цепко держит, не отпускает.

Однако и сенокосец крепко засел в щели, не вылезает.

Тянула его лиса за хвост, тянула, никак не вытянет. Рванула изо всех сил, да вдруг как перекувырнётся! Затылком о камне стукнулась, еле-еле на ноги встала — в зубах у неё только сытырганов хвостик.

С того дня у лисы морда вытянулась, а сенокосец остался без хвоста.





СТО УМОВ*

Как стало тепло, прилетел журавль на Алтай, опустился на родное болото и пошёл плясать. Ногами перебирает, крыльями хлопает.

Бежала мимо голодная лиса. Позавидовала она журавлиной радости, заверещала:

— Смотрю и глазам своим не верю — журавль пляшет! А ведь у него, бедняги, всего две ноги!

Остановился журавль, глянул на лису, а у той — одна, две, три, четыре лапы! Журавль даже клюв разинул.

— Ой! — крикнула лиса. — Ой, в таком длинном клюве ни одного-то зуба нет!..

А сама во весь рот улыбаётся, свои зубы кажет.

Закрыв клюв журавль, голову повесил.

Тут лиса ещё громче засмеялась:

— Ха-ха! Куда он свои уши спрятал? На голове ушей не видно. Эй, журавль, а в голове у тебя что?

— Я сюда из-за моря дорогу нашёл,— чуть не плачет журавль,— есть, значит, у меня в голове хоть какой-то ум...

— Ох и несчастливый ты, журавль,— говорит лиса,— две ноги да один ум. Ты на меня погляди: четыре ноги, два уха, полон рот зубов, сто умов и замечательный хвост!

С горя журавль ещё длиннее вытянул длинную шею и увидел вдали человека с луком на плече, с колчаном стрел у пояса:

— Лиса, почтенная лиса, у вас четыре ноги, два уха и замечательный хвост, у вас полон рот зубов, у вас сто умов... Смотрите — охотник идёт! Как нам спастись?

— Мои сто умов мне всегда сто советов дадут, а ты сам своим умишком пошевели.

Сказала и юркнула в барсучью нору.

Журавль подумал: «У неё сто умов!» — и туда же, за ней.

Никогда охотник такого не видывал, чтобы журавль за лисой гнался. Сунул охотник руку в нору, схватил журавля за длинные ноги и вытащил его на свет. Крылья у журавля обвисли, глаза как стеклянные, даже сердце не бьётся.

«Задохся, верно, в норе», — подумал охотник и швырнул журавля на кочку. Снова сунул руку в нору — лису вытащил.

Лиса ушами трясла, зубами кусалась, всеми четырьмя лапами дарапалась, а всё же попала в охотничью суму.

«Пожалуй, и журавля прихвачу», — решил охотник.

Обернулся, глянул на кочку, а журавля-то и нет! Высоко в небе летит он, и стрелой не достанешь.

Так попалась лиса, у которой было сто умов, полон рот зубов, четыре ноги, два уха и замечательный хвост.

А журавль одним своим умишком пораскинул и смекнул, как спастись.



НАРЯДНЫЙ БУРУНДУК*

Всю долгую зиму крепко спал в своей берлоге бурый медведь. Когда синичка запела весеннюю песенку, он проснулся, вышел из тёмной ямы, лапой глаза от солнца спрятал, чихнул, на себя посмотрел:

— Э-э-э, ма-аш, как я похуде-ел... Всю долгую зиму ничего не е-е-ел...

Его любимая еда — кедровые орехи. Его любимый кедр — вот он, толстый, в шесть обхватов, у самой берлоги стоит. Ветки частые, хвоя шёлковая, сквозь неё даже капёль не каплет.

Поднялся медведь на задние лапы, передними за ветви

кедра ухватился, ни одной шишки не увидел, и лапы опустились.

— Э, ма-аш! — испугался медведь. — Что со мной? Будто свинец к поясице привязан, лапы не слушаются... Состарился я или от голода ослаб? Как теперь кормиться буду?

Двинулся сквозь частый лес, бурную реку мелким бродом перешёл, каменными россыпями шагал, по талому снегу ступал.

Уже на опушку леса вышел, никакой еды не нашёл, куда дальше идти, сам не знает.

И вдруг он услышал:

— Брык-брык! Сык-сык! — Это, испугавшись медведя, кричал маленький бурундучок.

Медведь хотел было шагнуть, лапу поднял да так и замер.

«Э-э-э, ма-а-аш, как же я о бурундуке забыл? Бурундук — хозяин старательный. Он на три года вперёд орехами запасается. Постой-постой-постой! — сказал самому себе медведь. — Надо нору его найти, у него закрома и весной не пустуют».

И пошёл землю нюхать... И нашёл! Вот оно, бурундуково жилище. Но как в такой узкий ход большую лапу просунешь?

Трудно старому мёрзлую землю когтями царапать, а тут ещё корень, как железо, твёрдый. Лапами его тащить? Нет, не вытащишь. Зубами грызть? Нет, не разгрызёшь. Размахнулся медведь — рраз! — пихта упала, корень сам из земли вывернулся.

Услыхав этот шум, маленький бурундук ум потерял. Сердце так бьётся, будто выскочить хочет. Бурундучок передними лапами рот зажал, слёзы из глаз ключом бьют: «Зачем я крикнул? Для чего сейчас ещё громче кричать хочу? Рот мой, замкнись!»

Быстро-быстро вырыл бурундук на дне норы ямку, залез туда и даже дышать не смеет.

А медведь просунул свою огромную лапу в бурундукову кладовую, захватил горсть орехов, сжевал.

— Э, ма-аш! Говорил я: бурундук — хозяин добрый. — Медведь даже прослезился. — Видно, не пришло моё время умирать. Поживу ещё на белом свете...

Опять сунул лапу в кладовую — орехов там полным-полно!
Поел, погладил себя по животу:

«Отощавший мой желудок наполнился, шерсть моя как золотая блестит, в лапах сила играет. Ещё немного пожую, совсем окропну».

И медведь так наелся, что стоять не может.

— Уф, уф... Сыт я, сыт-пересыт, выше головы сыт. И сердце теперь, и печень у меня чистые, и голова ясная...

На землю сел, думает:

«Надо бы этого запасливого бурундука отблагодарить. Хорошо было бы что-нибудь на память ему подарить».

Почесал лапой за ухом:

«Эх, когда я из своей берлоги выходил, ничего с собой не захватил. И трубку, и кисет, и нож — всё дома оставил. Даже щепотки соли не взял. Э-э, ма-а-ах, что же теперь делать?.. Ладно, хоть спасибо ему скажу,— решил медведь.— Да где же он?»

— Эй, хозяин, отзовитесь!

А бурундук ещё крепче рот свой зажимает.

«Стыдно будет мне в лесу жить, если, чужие запасы съев, я даже доброго здоровья хозяину не пожелаю»,— подумал медведь.

Заглянул в норку и увидел бурундуков хвост.

— Э-э-э, ма-а-ах,— обрадовался медведь,— хозяин-то, оказывается, дома! Благодарю вас, почтенный. Спасибо, уважаемый. Пусть закрома ваши никогда порожними не стоят, пусть желудок ваш никогда от голода не урчит... Позвольте обнять вас, к сердцу прижать.

Бурундук по-медвежьи разговаривать не учился, медвежьих слов он не понимает. Как увидел над собой когтистую большую лапу, закричал по-своему, по-бурундучьи: «Брык-брык, сых-ых!» — и выскочил было из норки. Но медведь подхватил его своей могучей лапой, к груди прижал и речь свою медвежью дальше ведёт:

— Спасибо, дядя, голодного меня вы накормили, усталому

мне отдых дали. Неслабеющим, сильным будьте, под урожайным богатым кедром всегда живите, пусть дети ваши, и внуки, и правнуки нужды-голода не знают...

«О-о, какой страшный голос,— дрожит бурундук,— о-о, какое грозное рычание...»

Освободиться, бежать хочет, медвежью жёсткую лапу своими коготками изо всех сил скребёт, а у медведя лапа даже не чешется. Ни на минуту не умолкая, он бурундучку хвалу поёт:

— Я громко, до небес, благодарю, тысячу раз спасибо говорю! Взгляните на меня хотя бы одним глазом...

А бурундук ни звука.

— Э, ма-аш! Где, в каком лесу росли вы? На каком пне воспитывались? Спасибо говорят, а он ничего не отвечает, глаз своих на благодарящего не поднимает. Улыбнитесь хоть немножко!

Замолчал медведь, голову склонил, ответной речи ждёт, а бурундук думает:

«Кончил рычать, теперь он меня съест».

Рванул из последних силёнок и выскочил!

От пяти чёрных медвежьих когтей заструились по спине бурундука пять чёрных полос. С той поры и носит бурундук нарядную шубку. Это медвежий подарок.





ЛЯГУШКА И МУРАВЬИ*

Жила-была лягушка. Она жила в маленьком круглом озерке.

Вот однажды вышла из своего дома и прыг-скок по берегу, прыг-прыг — в лес заглянула, скок-скок — дорогу домой потеряла.

Метнулась туда, сюда и попала на муравьиную тропу.

Муравьи десятками вскочили ей на спину, сотнями вцепились в живот.

— Ква-а,— заплакала лягушка,— кво-о... Ка-ак не стыдно заблудившегося обижать, голодного кусать?

Муравьям стало совестно. Спрыгнули они на землю, низко лягушке поклонились:

— Уважаемая тётушка! Пожалуйста к нам в гости — пищу нашу отведайте, питьё наше пригубьте.

Пришла лягушка к муравьям, села на почётное место. Ела и пила, песни пела и беседу вела, о чём говорила, сама не поняла — так много мёду выпила.

Кто постель стелил, она не знает, на чём спала — не ведает.

Проснулась лягушка, когда солнце высоко поднялось. Муравьи давным-давно на работу ушли, только один муравьишка замешкался — он после вчерашнего пира чашки-ложки убирал.

— Пожалуйста, влезь на эту лиственницу, — попросила лягушка, — крутом посмотри. Не увидишь ли ты, в какой стороне мой дом, моё круглое озеро...

Муравей влез на дерево, во все стороны посмотрел и говорит:

— Вон там, на западе, блестит ваше озеро. Если хотите, провожу вас туда самой короткой дорогой.

— Ка-какой ты добрый! — обрадовалась лягушка. — Пойдём, пойдём скорее. Дома я тебя хорошо угощу.

— Дорогу показать могу, — ответил муравьишка, — но угощаться не стану. Мы, муравьи, ни работать, ни отдыхать поврозь не умеем.

— Ладно, ладно, пусть все идут ко мне в гости. Только бы домой засветло добраться.

Муравей спустился с дерева и побежал к озеру. Лягушка прыг-прыг, скок-скок за ним, а за лягушкой муравьи как ручьём потекли — все-все, сколько их было в этом муравейнике, и в соседних, и в дальних. Со всего леса собрались к лягушке в гости.

Вот пришли к озеру. Обернулась лягушка, а на берегу черным-черно. Столько муравьёв, что и травы не видно!

У лягушки глаза выпучились:

«Что теперь делать? Сама же всех позвала...»

— Ква-а, какая честь, ка-ак я рада! Подождите меня здесь на берегу, а я насчёт угощения распоряжусь.

И бултых в воду!

Муравьи день стоят ждут, два дня ждут, а лягушки и не видно.

На седьмой день рассердилась муравьиная матка.

— Ну,— говорит,— лягушкиного угощения ждать — с голоду умрёшь.

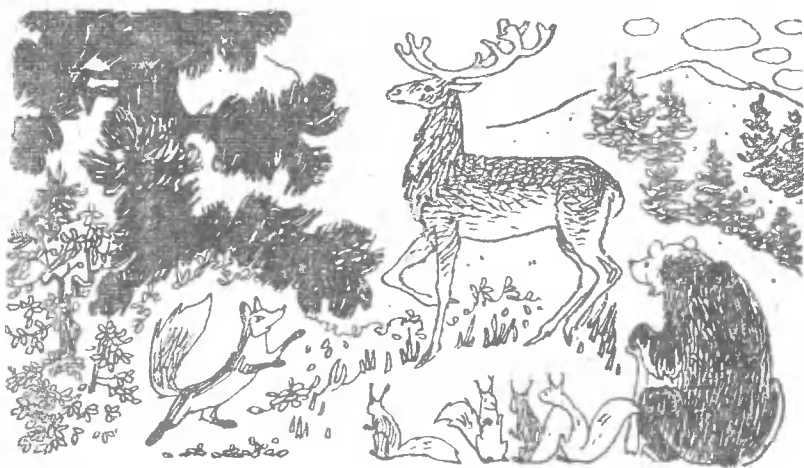
Затянула она потуже пояс на пустом брюшке и пошла домой.

Все муравьи тоже пояса подтянули и разбрелись по своим муравейникам.

С тех пор и поныне ходят муравьи перетянутые туго-натуго.

А глаза у лягушки так и остались выпученные.





ОБИДА МАРАЛА*

Прибежала красная лиса с зелёных холмов в чёрный лес. Она в лесу себе норы ещё не вырыла, а новости лесные ей уже известны: стал медведь стар.

И пошла лиса на весь лес причитать:

— Ай-яй-яй, горе-беда! Наш старейшина, бурый медведь, умирает. Его золотистая шуба поблёкла, острые зубы притупились, в лапах силы былой нет. Скорее, скорей давайте соберёмся, подумаем: кто в нашем лесу всех умнее, всех краше, кому хвалу споём, кого на медведево место посадим.

Где девять рек соединились, у подножия девяти гор, над быстрым ключом мохнатый кедр стоит. Под этим кедром собра-

лись звери из чёрного леса. Друг другу шубы свои кажут, умом, силой, красой похваляются.

Старик медведь тоже сюда пришёл:

— Что шумите? О чём спорите?

Притихли звери, а лиса острую морду подняла и заверещала:

— Ах, почтенный медведь, нестареющим, крепким будьте, сто лет живите! Мы тут спорим-ссоримся, а дела решить без вас не можем: кто достойнее, кто красивее всех?

— Всяк по-своему хорош,— проворчал старик.

— Ах, мудрейший, всё же мы хотим ваше слово услышать. На кого укажете, тому хвалу споём, на почётное место посадим.

А сама свой красный хвост распушила, золотую шерсть языком охорашивает, белую грудку приглаживает.

И тут звери вдруг увидели бегущего вдаль марала: тонкими, сильными ногами он вершину горы попирает, ветвистые рога по дну неба след вели.

Лиса ещё рта закрыть не успела, а марал уже здесь. Не вспотела от быстрого бега его гладкая шерсть, не заходили чаще его тонкие рёбра, не вскипела в тугих жилах тёплая кровь. Сердце спокойно, ровно бьётся, тихо сияют большие глаза. Розовым языком коричневую губу чешет, зубы белеют, смеются.

Медленно встал старый медведь, лапу к маралу протянул:

— Вот кто всех краше!

От зависти лиса за хвост себя укусила.

— Хорошо ли живёте, благородный олень? — спросила. — Видно, ослабели ваши стройные ноги, в широкой груди дыхание спёрло. Ничтожные белки опередили вас, кривоногая росомаха давно уже здесь, даже медлительный барсук и тот успел сюда раньше вас прийти.

Опустил марал свою ветвисторогую голову, колыхнулась его мохнатая грудь, и зазвенел голос, как тростниковая свирель:

— Уважаемая лиса! Белки на этом кедре живут, росомаха на соседнем дереве спала, у барсука дом здесь, под этим холмом. А я девять долин миновал, девять рек переплыл, через девять гор перевалил...

Поднял голову марал — уши его подобны лепесткам цветов. Рога, тонким ворсом одетые, прозрачны, словно майским мёдом налиты.

— О чём, лиса, ты хлопочешь? — рассердился медведь. — Сама, что ли, старейшиной стать задумала?

Отшвырнул он лису, глянул на марала и молвил:

— Прошу вас, благородный марал, займите почётное место.

А лиса уже опять здесь:

— О-ха-ха! Бурого марала старейшиной выбрать хотят, петь хвалу ему собираются. Ха-ха-ха! Сейчас-то он красив, а посмотрите на него зимой — голова безрогая, шея тонкая, шерсть висит клочьями, сам от ветра шатается.

Марал в ответ слов не нашёл. Звери тоже молчат. Даже медведь не вспомнил, что каждую весну отрастают у марала новые рога, каждый год прибавляется на рогах по новой веточке, и год от года рога ветвистее, а марал чем старше, тем прекраснее.

От горькой обиды упали из глаз марала жгучие слёзы, прожгли они щёки до костей, и кости погнулись.

Погляди, и сейчас темнеют у него под глазами глубокие впадины. Но глаза от этого ещё краше стали, и красоте марала не только звери, но и люди славу поют.





КОНЬ, КОРОВА И ЗВЁЗДЫ*

В старину, в далёкую старину, конь и корова из одного ручья воду пили, одной тропой на пастбище ходили.

Вот однажды, летним днём, конь сказал:

— Сестра, а не спуститься ли нам в овраг? Там прохладнее.

Начали спускаться, вдруг корова замычала:

— Мм-о, дядя конь, мм-у-у! В овраге пожар!!

Конь ноздри раздул — понюхал, глазом повёл — посмотрел, и увидал на дне оврага звёздную россыпь.

— Давай прижмём эти звёзды, пусть они на земле останутся.

— Я первая увидела, я первая пойду!

— Твои копыта тоньше моих, ноги слабее — не удержишь.

Но корова дядю коня не послушала, прыгнула вниз, на звёзды копытами наступила. Встрепенулись звёзды, ещё жарче разгорелись. Коровьи копыта треснули. И улетели звёзды со дна оврага на дно неба.

— И хо-хо! Теперь твои копыта на вилы похожи.

— Мо-о, му-у-у... — заплакала корова. — Дядя ко-о-о-онь...

— Больше мы не родня. Тебе тот свояк, у кого парные копыта.

Вот с той поры конь и корова дружбу потеряли, а в небе появилось новое созвездие — Улькер¹.

¹ У л ь к е р — созвездие Плеяды.



СТРАШНЫЙ ГОСТЬ*

Жил-был барсук. Днём он спал, ночами выходил на охоту. Вот однажды ночью барсук охотился. Не успел он насытиться, а край неба уже посветлел. До солнца в свою нору спешит барсук. Людям не показываясь, прячась от собак, шёл он там, где тень гуще, где земля чернее. Подошёл барсук к своему жилью.

— Хрр... Бррр...— вдруг услышал непонятный шум.

«Что такое?»

Сон из барсука выскочил, шерсть дыбом встала, сердце чуть рёбра не сломило стуком.

«Я такого шума никогда не слыхивал...»

— Хррр... Фиррлить-фью... Бррр...

«Скорей обратно в лес пойду, таких же, как я, когтистых зверей позову, я один тут за всех погибать не согласен».

И пошёл барсук когтистых зверей на помощь звать:

— Ой, у меня в норе страшный гость сидит! Помогите!

Прибежали звери, ушами к земле припики — в самом деле от шума земля дрожит.

— Бррррррк, хрр, фью...

Изо всех восьми ходов-выходов так и гремит.

У зверей шерсть дыбом поднялась.

— Ну, барсук, это твой дом, ты первый и полезай.

Обернулся барсук — большие когтистые звери вокруг стоят подгоняют:

— Иди, иди!

А сами от страха хвосты поджали.

«Что делать, — думает барсук, — как быть?»

— Чего стал? — тявкнула лиса.

Медленно, нехотя подошёл барсук к главному входу.

— Хрррр! — вылетело оттуда.

Отскочил барсук к другому входу-выходу.

— Бррр!

Принялся барсук ещё один ход рыть. Обидно родной дом разрушать, да что поделаешь — со всего Алтая свирепые звери собрались.

— Скорей, скорей! — торопят.

Наконец, чуть жив от страха, пробрался он в свою спальню.

— Хррр, бррр, фррр...

Это, развалиясь на мягкой постели, громко храпел белый заяц.

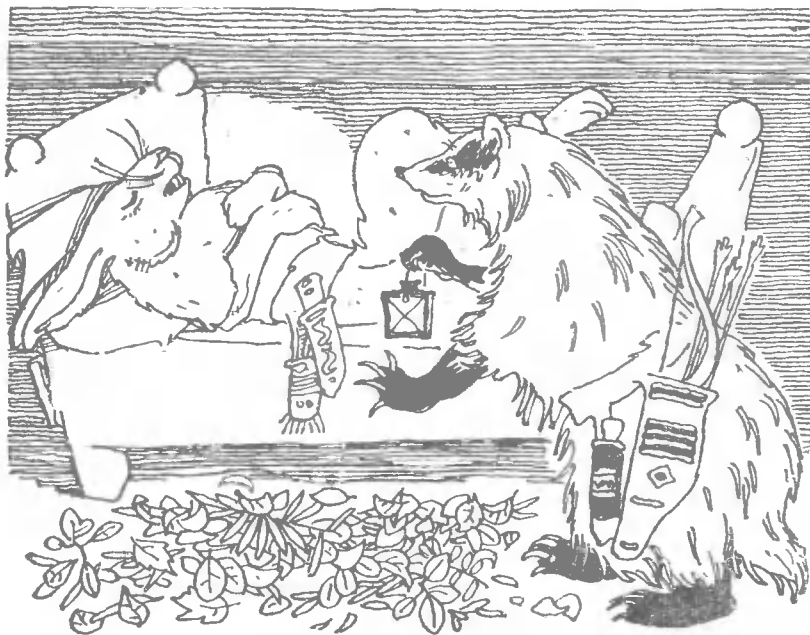
Звери со смеху на ногах не устояли, покатались по земле:

— Заяц! Барсук зайца испугался! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!

— От стыда куда теперь спрячешься, барсук? Против зайца какое войско собрал! Ха-ха-ха! Хо-хо!

Барсук головы не поднимает, себя бранит:

«Почему, шум в своём доме услышав, сам туда не заглянул? Для чего пошёл на весь Алтай кричать?»



А заяц знай себе спит-храпит.

Рассердился барсук да как пихнёт его:

— Пошёл вон! Кто тебе здесь спать позволил?

Проснулся заяц — глаза чуть не выскочили, перекошились! И волк, и лисица, рысь, росомаха, дикая кошка — все когтистые звери здесь...

«Ну, — думает заяц, — будь что будет!»

И — прыг барсуку в лоб. А со лба, как с холма, опять скок! — и в кусты.

От белого заячьего живота побелел лоб у барсука. От задних заячьих лап прошли белые следы по щекам.

Звери ещё громче засмеялись:

— Ой, барсу-у-ук, какой ты красивый стал! Хо-ха-ха!

— К воде пойдп, на себя посмотри!

Заковылял барсук к лесному озеру, увидел в воде своё отражение и заплакал:

«Пойду медведю пожалуюсь».

Пришёл и говорит:

— Кланяюсь вам до земли, дедушка медведь! Защиты у вас прошу. Сам я этой ночью дома не был, гостей не звал. Громкий храп услышав, испугался... Скольких зверей обеспокоил, сам свой дом порушил. Теперь, посмотрите, от заячьего белого живота, от заячьих лап щёки мои и лоб побелели. А виноватый без оглядки убежал. Это дело рассудите.

Взглянул медведь на барсука. Отошёл подальше — ещё раз посмотрел да как зарычит:

— Ты ещё жалуешься? Твоя голова раньше чёрная была, как земля, а теперь белизне твоего лба и щёк даже люди позавидуют. Досадно, что не я на том месте стоял, что не моё лицо заяц выбелил. Вот это жаль! Да, жалко, обидно...

И, горько вздыхая, побрёл медведь в свою берлогу.

А барсук так и живёт с белой полосой на лбу и на щеках. Говорят, привык он к этим отметинам, даже похваляется:

— Вот как заяц для меня постарался! Мы теперь с ним на веки вечные друзьями стали.

Ну, а что заяц говорит, этого никто не слышал.





ДОБРАЯ КЕДРОВКА*

К осени бурый медведь толстый, ленивый стал, шерсть у него как маслом намазанная лоснится. Он по лесу не спеша ходит, через тонкие колоды переступает, а увидит бревно потолще — в обход идёт, ему лень шагнуть повыше.

Посреди лесной поляны стоял могучий кедр. Шишки на том кедре тяжёлые, спелые, от их тяжести ветки к земле гнутся.

Медведь губы языком облизал, вздохнул даже:

«Ох и сладки, должно быть, в этих шишках орехи...»

А лапу поднять ему лень.

Вдруг — хлоп — шишка! Стукнула медведя по темени, упала к ногам.

Поднял её медведь, выбрал орехи, съел. Снова вверх глянул, не упадёт ли оттуда ещё, и увидал рябую птичку, кедровку.

— Ой, великий медведь! — пискнула птичка. — Я вам лучшую шишку сбросила...

Перья у кедровки взъерошились, голос дрожит.

Она сидела на ветке, клевала орехи, нечаянно уронила шишку, шишка стукнула медведя.

Испугалась кедровка, даже взлететь не посмела, не шевелясь сидит.

— Почтеннейший, уважаемый медведь! Я для вас эту шишку всё лето от птиц и зверей берегла. Могу ещё десять шишек сбросить, если пожелаете...

— О-о, вот гостеприимная, вот добрая птица...

От этой похвалы кедровка совсем счастливая стала.

А медведь орехами хрустит да приговаривает:

— Мы с тобой теперь на веки вечные друзья. Если хочешь, можешь дядей меня называть. Только, пожалуйста, потрудись для медведя-старика, ещё шишек посшибай, да тех, что потяжелю.

Кедровка голову набок склонила, одним глазом на медведя глянула — ничуть, оказывается, не страшно — и молвила:

— Милый дядя медведь, вы только взгляните на меня! Много ли я своим клювом шишек для вас спибу? Вот если бы вы и сами немного постарались...

— Это можно бы, можно было бы ветки потрясти, да шишки-то покатытся по всей поляне, где уж мне, старику, их собирать.

— Э-э-э, дядюшка! Были бы шишки, а сборщики найдутся. Для нас, кедровок, эта работа привычная. Только мне за вами не поспеть, не управиться одной. Если позволите, я родню свою позову.

— Зови.

Кедровка взлетела на вершину лиственницы, раза два крикнула, и все её родные, все знакомые слетелись на поляну.

Вот принялся медведь ветки трясти, шишки сбивать: всеми четырьмя лапами работает, головой помогает. Когда на кедре не осталось ни одной шишки, медведь сел отдохнуть. Смотрит — на поляне ни птиц, ни шишек. Лишь одна недозрелая под кедром валяется.

И к этой последней добрая кедровка не постыдилась полететь.

Схватила и унесла.

Рассердился медведь, хотел беркуту на кедровку пожаловаться, да стыдно ведь признаться, что такая маленькая пичужка такого могучего зверя обидела.

— Ладно, — махнул лапой медведь, — ешьте эти орехи, ешьте! Сколько бы вы ни съели, всё равно останетесь такими же малыми пичугами. А я и сейчас вот какой толстый, а к зиме ещё толще буду!





ДВЕ ОДЁЖКИ*

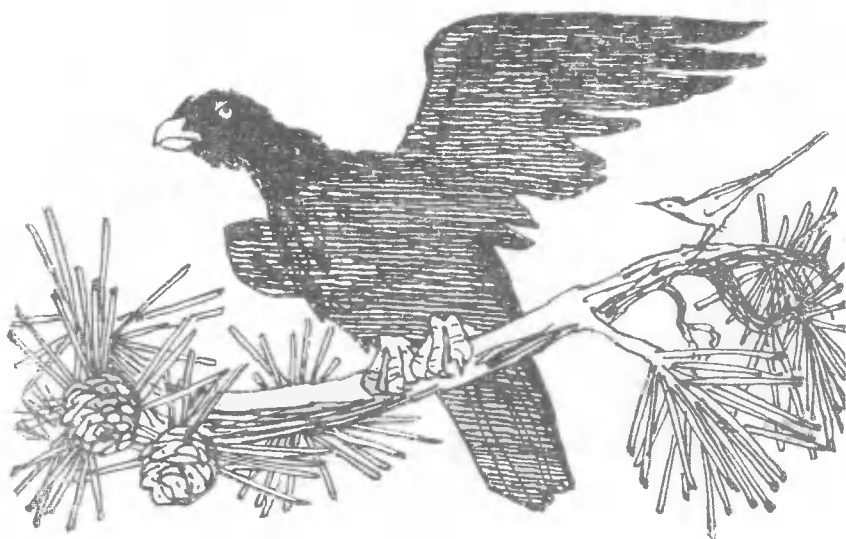
От жаркого весеннего солнца, от злого весеннего ветра сморщился снег, стёжился. Стала земля обнажаться, стала трава пробиваться.

И звери, и птицы весне рады, только белый заяц плачет:

— Снег, снег, не уходи! Меня, белого зайца, не покидай! Всю зиму я в твоём белом пуху ямки рыл, от мороза спасался, от врагов хоронился... На тёмной земле, в зелёной траве меня, белого, всякий увидит, каждый обидит. Снег, снег, не уходи! Меня, белого зайца, не покидай!

— Остаться здесь не могу, а шубу твою белую, если пожелаешь, с собой унесу. Ты шей на лето бурую поддёвку. Зимой я, снег, опять приду, белую шубу твою тебе принесу.

Так они и делают. Снег, уходя, берёт с собой заячью белую шубку. Всё лето, всю осень бегают заяц в бурой поддёвке, а к зиме снег приносит зайцу белую одёжку.



ЖАДНЫЙ ГЛУХАРЬ*

Роняет берёза золотую листву, золотые иглы теряет лиственница.

Дуют злые ветры, падают холодные дожди. Лето ушло, осень пришла.

Птицам время в тёплые края лететь.

Семь дней на опушке леса в стаи собирались, семь дней перекликались:

— Все ли тут? Тут ли все? Все иль нет?

Только глухаря не слышно, глухаря не видно.

Стукнул беркут своим горбатым клювом по сухой ветке, стукнул ещё раз и приказал серой кукушке:

— Позови глухаря, пусть поторопится.

Полетела кукушка в лесную чащобу.

Глухарь, оказывается, здесь — на кедре он сидит, орехи из шишек лущит.

— Уважаемый глухарь, — сказала серая кукушка, — все птицы в тёплые края собрались. Уже семь дней вас одного дожидаемся.

— Ну, ну, всполошились! — проскрипел глухарь. — В тёплые земли лететь ещё не к спеху. Сколько здесь в лесу орехов, ягод... Неужто всё мышам и белкам оставить?

Вернулась кукушка:

— Глухарь орехи щёлкает, лететь на юг, говорит он, не к спеху.

Послал тогда беркут проворную трясогузку.

Прилетела трясогузка к кедру, вокруг ствола десять раз обегала:

— Скорее, глухарь, скорее!

— Очень ты скорая. Перед дальней дорогой надо маленько подкрепиться.

Трясогузка хвостиком потрясла, побегала, побегала, глухаря покликала да и улетела.

— Великий беркут, глухарь перед дальней дорогой хочет сил набрать, подкрепиться.

Разгневался беркут и повелел всем птицам немедленно в тёплые края лететь.

А жадный глухарь ещё семь дней орехи из кедровых шишек выбирал, на восьмой вздохнул, клюв о перья почистил:

— Ох, не хватит у меня сил всё это съесть. Жалко такое добро покидать, да что поделаешь...

И, тяжело хлопая крыльями, полетел на лесную опушку.

«Что такое?»

Птиц не видно, голосов их не слышно.

Опустела золотая поляна, даже вечнозелёные кедры оголи-

лись. Это птицы, когда здесь семь дней, семь ночей глухаря ждали, хвою склевали, земля вокруг кедров от птичьего помёта побелела.

Горько заплакал, заскрипел глухарь:

— Без меня, без меня птицы в тёплые края улетели... Как теперь буду я один зимова-а-ать?

От слёз покраснели у глухаря его тёмные брови.

С той поры и до наших дней дети, и внуки, и правнуки глухаря, эту историю вспоминая, горько плачут. И у всех глухарей брови, как рябина, красные.





ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ*

Теперь летучая мышь только ночами летает. А было время, летала и днём.

Вот однажды ясным утром летела она, вдруг кинулся к ней серый ястреб:

— Добрый день, уважаемая! Наконец-то мы встретились, три года тебя ищу.

— Меня? По какому делу?

— Все птицы своих сыновей в птичье войско посылают. Одна ты их под крыльями прячешь.

— Я? Да разве я птица? — Сложила крылья, спустилась в траву и побежала.

«Пожалуй, это зверь», — подумал ястреб и улетел.

Бежала-бежала летучая мышь, как вдруг из-под куста выскочила серебряная лиса:

— А-а, голубушка, вот ты и попалась! Седьмой год тебя ищу.

— Меня? Для чего?

— А ты будто и не знаешь! Все звери посылают детей в звериное войско, одна ты своих деток от себя никуда не отпускаешь.

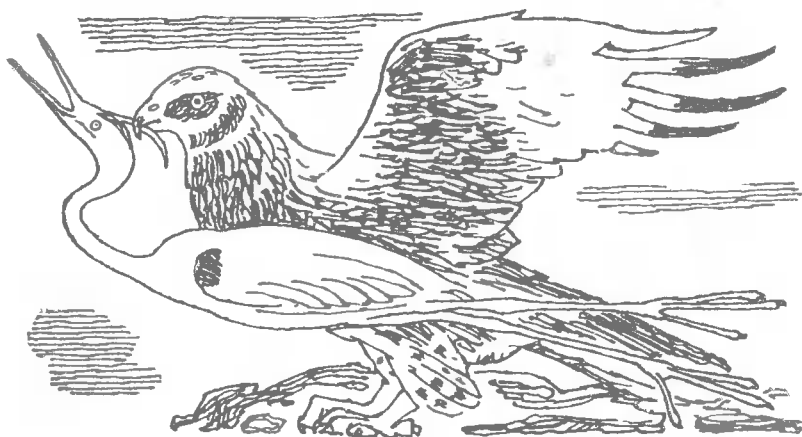
— Да разве я зверь? — Расправила крылья и улетела.

«Пожалуй, это птица». И лиса побежала своей дорогой.

С того времени летучая мышь бегать вовсе перестала — лису повстречать боится. И днём летать не смеет — ястреба опасается.

Так и живёт в вечном страхе — от зверей отеклась, к птицам не пристала.





КАК БЕРКУТ ЦАПЛЮ НАКАЗАЛ

Это было во времена давние, когда птицы ещё не знали, где кому положено гнездиться. Каждую весну птицы воевали, спорили. И случалось, что глухарь гнезился над водой, а лебедь в лесу на сосне.

И вот созвал беркут великую сходку, чтобы каждая птица знала, где ей строить свой дом.

Был послан строгий указ явиться всем птицам на сход.

Едва старшина-цапля Карá-чилён-зайсáн услышал о сходке, тотчас распрямил крылья, поднялся и полетел.

Вместе с цапляй Кара-чиленом летели семеро верных слуг, семеро коростелей.

Семь морей они миновали, через семь горных перевалов перелетели, как вдруг услышали:

— Ква-ква-а!

Посмотрели вниз, увидели болото, и в каждой луже, на каждой кочке пучеглазые лягушки квакают так громко, будто быки ревут.

Не вытерпел Кара-чилен-зайсан, спустился на болото. Его верные слуги туда же за своим старшиной. И началась великая охота!

Лишь на пятые сутки опомнился старшина-цапля, даже слезу в болото уронил:

— Мы на сходку опоздали...

Горько плача и причитая, едва-едва Кара-чилен поднялся и полетел.

Вместе с ним поднялись сытые-сытые коростели и, тяжело махая крыльями, все вместе направились к скале, где сидел беркут. Опустились к подножию, голову склонили.

— Поччему так долго летели?— грозно заклекотал великий беркут.

— Ох-ох,— вздохнул Кара-чилен,— были на то важные причины. Указ ваш поздно получили, потом в пути с густым туманом встретились... Заблудились...

— Как это ты, почтенный старшина-цапля, не стыдишься лгать?

Разгневался беркут, схватил Кара-чилена за макушку и оттрепал так, что перья на голове старшины-зайсана встали хохолком.

— Не быть тебе больше старшиной,— сказал беркут.

Почесал Кара-чилен голову, нацупал хохолок, и клюв у него с горя вытянулся.

Заплакал он в голос:

— Навсегда, навсегда я теперь меченый...

С той поры и поныне, как вспомнит Кара-чилен о хохолке,

кричит и плачет. И дети Кара-чилена, как вылупятся, начинают горько плакать.

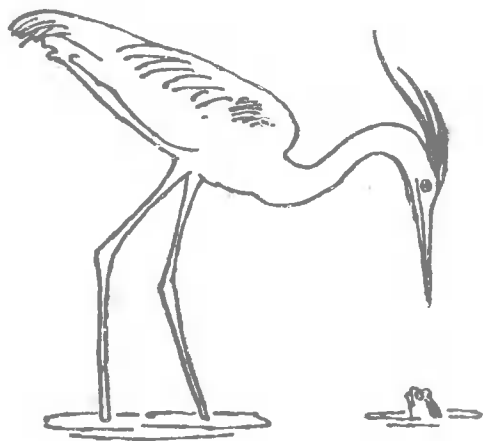
И нет у цапли другой песни, только этот жалобный крик.

— Гнездиться ты будешь в камышах,— решил беркут,— другие места уже заняты.

— А нам где прикажете гнездо строить? — всполошились коростели.

— Там же у болота. Вы своего зайсана не поторопили, вместе с ним охотились, вместе и будете наказаны.

Давно всё это было. Однако с той самой великой сходки каждая птица хорошо знает, куда ей лететь, где своё гнездо вить.





ГОРНОСТАЙ И ЗАЯЦ*

Зимней порой вышел горноста́й на охоту. Он под снег нырнул, выпрыгнул, на задние лапы встал, шею вытянул, прислушался, головой повертел, принюхался...

И вдруг словно гора упала ему на спину. А горноста́й хоть ростом мал, да отважен. Обернулся, как вцепится зубами в гору — не мешай охоте!

— А-а-а-а! — раздался крик, плач, стон, и с горностаевой спины свалился заяц.

Задняя лапа у зайца до кости прокушена, чёрная кровь на белый снег течёт. Плачет заяц, рыдает:

— О-о-о! Я от совы бежал, свою жизнь спасти хотел. Я нечаянно тебе на спину свалился, а ты меня укуси-и-ил...

— Ой, заяц, простите! Пожалуйста, не сердитесь, я тоже нечаянно...

— Слушать ничего не хочу, а-а-а!.. Никогда не прощу! Пойду на тебя медведю пожалуюсь!

Ещё солнце не взошло, а горноста́й уже получил строгий указ:

В МОЙ АПЛ НА СУД СЕЙЧАС ЖЕ ЯВИТЕСЬ!

*Старейшина здешнего леса
тёмно-бурый медведь.*

Круглое сердце горностаево стукнуло, тонкие косточки со страху гнутся... Ох и рад бы горноста́й не идти, да медведя послушаться никак нельзя.

Робко-робко вошёл он в медвежье жилище.

Медведь на почётном месте сидит, трубку курит, а рядом с хозяином, по правую сторону,— заяц. Он на костыль опирается, раненую лапу вперёд выставил.

Медведь пушистые ресницы поднял и красно-жёлтыми глазами на горноста́я взглянул:

— Ты как смеешь кусаться?

Горноста́й, будто немой, только губами шевелит. Сердцу в груди совсем тесно.

— Я... я... охотился,— чуть слышно шепчет.

— На кого охотился?

— Хотел мышь поймать, ночную птицу подстеречь.

— Да, мыши и птицы — твоя пища. А зайца зачем укусил?

— Заяц первый меня обидел, он мне на спину свалился.

Обернулся медведь к зайцу да как рывкнет:

— Ты для чего это горноста́ю на спину прыгнул?

Задрожал заяц, слёзы из глаз водопадом хлещут:

— Клапаясь вам до земли, великий медведь, у горноста́я зимой спина, как снег, белая... Я его со спины не узнал... Ошибся...

— Я тоже ошибся,— крикнул горноста́й,— заяц зимой тоже весь белый, я его с лица не узнал!

Долго молчал старик медведь. Перед ним жарко трещал большой костёр, над огнём на железном треножнике стоял золотой котёл с семью бронзовыми ушками. Этот свой любимый котёл медведь никогда не чистил, боялся, что вместе с грязью счастье уйдёт, и золотой котёл был всегда ста слоями сажи, как бархатом, покрыт.

Протянул медведь к котлу правую лапу, чуть дотронулся, а лапа уже черным-черна. Этой лапой медведь зайца слегка за уши потрепал, и вычернились у зайца кончики ушей.

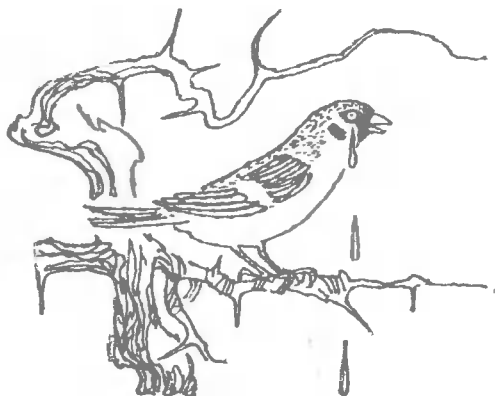
— Ну вот, теперь ты, горноста́й, всегда узнаешь зайца по ушам.

Горноста́й, радуясь, что дело так счастливо обошлось, кинулся бежать, да медведь его за хвост поймал. Вот и почерпел у горноста́я кончик хвоста!

— Теперь ты, заяц, всегда узнаешь горноста́я по хвосту.

Говорят, с той поры и до наших дней заяц с горноста́ем не сталкиваются.





КАК ВОРОБЫШЕК ГОРЬКО ПЛАКАЛ

Было это или не было, не знаем, сказка это или быль, не ведаем. Что слышали, то и повторяем.

Скакал по ветвям акации серый воробышек. Укололся о шип и заплакал:

— Волк, волк! Давай с тобой акацию съедим.

— Некогда мне, некогда. Я собираю землянику в берестяное лукошко.

Рассердился воробышек, ещё горше заплакал:

— Овца, овца! Давай с тобой волка съедим.

— Некогда мне, некогда. Я в лес спешу на глухариную охоту.

Обиделся воробей, зарыдал:

— Глухарь, глухарь! Давай с тобой овцу проглотим.

Глухарь проглотил овцу, овца, которую проглотил глухарь, съела волка. Волк, которого съела овца, которую проглотил глухарь, чихнул и пошёл акацию жевать.

— Так тебе и надо, злая акация! Зачем меня, воробышка доброго, хорошего, уколола?

Было это или не было, не знаем, сказка это или быль, не ведаем. Что слышали, то и повторяем.



ДЕТИ ЗВЕРЯ МААНЫ*

В стародавние времена жила на Алтае чудо-зверь Мааны́. Была она, как кедр вековой, большая. По горам ходила, в долины спускалась — нигде похожего на себя зверя не нашла. И уже начала она понемногу стареть.

«Я умру,— думала она,— и никто на Алтае меня не вспомнит, забудут все, что жила на земле большая Мааны. Хоть бы родился у меня кто-нибудь».

Мало ли, много ли времени прошло, и родился у Мааны сын. Это был котёнок.

— Расти, расти, малыш! — запела Мааны.— Расти, расти...

Но кот хотя и подрос немного, так и остался мелким зверем, однако петь-мурлыкать от матери научился.

Второй сын — барсук — вырос крупнее кота, но далеко ему было до большой Мааны. Днём он из дома никуда не выходил, ночью по лесу тяжело шагал, головы не поднимая, звёзд, луны не видя.

Третья — росомаха — любила висеть на ветвях деревьев.

Однажды сорвалась с ветки, упала на лапы, и лапы у неё скривились.

Четвёртая — рысь — была хороша собой, но так пуглива, что и спящая вздрагивала, поднимала чуткие уши. На кончиках ушей у неё торчали кисточки.

Пятым родился ёрбис — барс. Этот был светлоглаз и отважен. Охотился он высоко в горах, с камня на камень легко, будто птица, перелетал.

Шестой — тигр, — подстерегая добычу, мог от восхода до заката лежать неподвижно. Он умел вторить весеннему ветру и подражать призывному крику оленей. Он был силен и хитёр, но даже от матери тайл свою силу.

Седьмой — лев — смотрел гордо, ходил, высоко подняв свою большую голову. От его голоса содрогались деревья и рушились скалы.

Был он самый мощный из семерых, но и этого сына Мааны-мать, играючи, на траву валила, к облакам подкидывала.

— Ни один на меня не похож, — дивилась большая Мааны, — а всё же это мои, мною рождённые дети. Когда умру — будет кому обо мне поплакать, пока жива — есть кому меня пожалеть.

Ласково на всех семерых детей поглядев, Мааны сказала:

— Я хочу есть.

Старший сын — кот, мурлыча свою песенку, потёрся головой о ноги матери и мелкими шагами побежал на добычу. Три дня пропадал. На четвёртый принёс в зубах малую птицу.

— Этого мне и на один глоток не хватит,— улыбнулась Мааны,— ты сам, дитя, подкрепишь немного.

Кот ещё три дня своей добычей забавлялся, лишь на четвёртый о еде вспомнил.

— Слушай, сынок,— сказала Мааны,— с твоими повадками трудно будет тебе жить в диком лесу. Ступай к человеку.

Только замолчала Мааны, а кота уже и не видно. Навсегда убежал он из дикого леса.

— Я голодна,— сказала Мааны барсуку.

Тот много не говорил, далеко не бегал. Поймал змею и несёт матери.

Разгневалась Мааны:

— Ты от меня уйди! За то, что принёс змею, сам кормись червями и змеями.

Похрюкивая, роя землю носом, барсук, утра не дожидаясь, ночью в глубь чёрного леса побежал. Там, на склоне холма, он вырыл себе просторную нору, постелил из сухих листьев высокую постель и стал жить в своём большом доме, никого к себе не приглашая, сам ни к кому в гости не навещаясь.

— Я хочу есть,— сказала Мааны росوماхе.

Семь дней бродила кривоногая росوماха, на восьмой принесла остатки волчьего ужина.

— Твоего, росوماха, угощения ждать — с голоду умрёшь,— сказала Мааны.— За то, что семь дней пропадала, пусть потомки твои по семь дней свою добычу выслеживают, пусть никогда они не наедаются досыта.

Росوماха обвила своими кривыми лапами ствол кедра, и с тех пор Мааны никогда не видала её.

Четвёртой пошла на охоту рысь. Эта принесла только что добытую косулю.

— Да будет твоя охота всегда так же удачлива,— обрадовалась Мааны.— Твои глаза зоркие, уши чуткие. Ты хруст сухой ветки слышишь на расстоянии дня пути. Тебе в непроходи-

мой чаще леса хорошо будет жить. Там, в дуплах старых деревьев, ты детей своих будешь растить.

И рысь, неслышно ступая, той же ночью убежала в чащобу старого леса.

Теперь на ирбиса — барса посмотрела Мааны. Ещё слова ему сказать не успела, а барс одним прыжком уже вскочил на островершинную скалу, одним ударом лапы повалил горного козла — текё.

Перебросив его себе на спину, барс на обратном пути поймал быстрого зайца. С двумя подарками мягко прыгнул он вниз, к жилищу старой Мааны.

— Ну, ты, ирбис-сынок, всегда живи на высоких скалах, на недоступных камнях. Живи там, где ходят горные козлы — текё и круторогие бараны — архáры.

Взобрался барс на скалы, убежал в горы, поселился между камней.

Куда пошёл тигр, Мааны не знала. Добычу он припёс ей, какую она не просила. Он положил к её ногам убитого охотника.

Заплакала, запричитала большая Мааны:

— Ой, сынок, как жестоко твоё сердце, как нерасчётлив твой ум. Ты первый с человеком вражду начал, твоя шкура полосами его крови теперь на вечные времена покрыта. Уходи жить в тростники, в частый камыш, чтобы никто полос на твоей шкуре не увидел. Живи там, где ни людей, ни скота нет. Питайся в хороший год дикими кабанами и оленями, в плохой — лягушек ешь, но не трогай человека! Если в этих гиблых местах ты первый увидишь его, это твоё счастье — беги! Если человек первый тебя заметит, это его счастье — он не остановится, пока не настигнет тебя.

С громким жалобным плачем полосатый тигр в тростники ушёл.

Теперь седьмой сын, лев, пошёл на добычу. Ночью в лесу он охотиться не захотел, спустился в долину и приволок оттуда убитого всадника и лошадь.

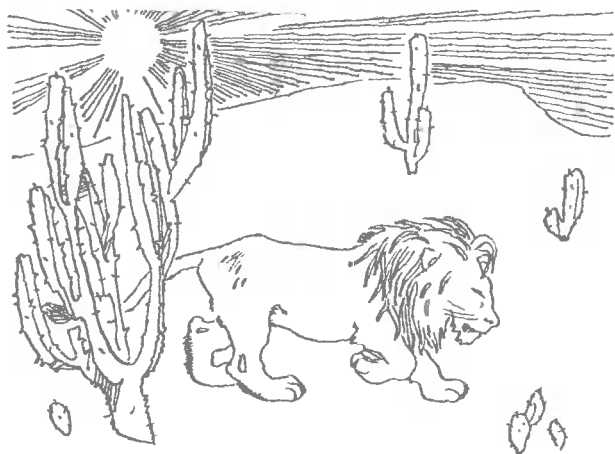
Мааны-мать чуть ум не потеряла.

— Ох-ох! — стонала она, царапая свою голову. — Ох, жаль мне себя, зачем родила я семерых детей! Ты, седьмой, самый свирепый! На моём Алтае не смей жить! Уходи туда, где не бывает зимней стужи, где не знают лютого осеннего ветра. Может быть, жаркое солнце смягчит твоё твёрдое сердце.

Так уснула от себя всех своих семерых детей жившая когда-то на Алтае большая Мааны.

И хотя под старость осталась она одинокой, и хотя, говорят, умирая, никого из детей своих позвать не захотела, всё же память о ней жива: дети зверя Мааны по всей земле расселились.

Давайте же споём песню о Мааны-матери, сказку о ней всем людям расскажем.





ШЁЛКОВАЯ КИСТОЧКА — ТОРКО-ЧАЧАК*

Жила-была девочка, звали её Торко-чачак — Шёлковая кисточка. Глаза у неё точно ягоды черёмухи, брови — две радуги. В косы вплетены заморские раковины, на шапке кисточка из шёлка, белого, как лунный свет.

Заболел однажды отец Шёлковой кисточки, вот мать и говорит ей:

— Сядь, дитя моё, на буланого коня, поскачи на берег бурной реки к берестяному аилу, там живёт Телдекпёй-кам. Попроси, позови его, пусть придёт отца твоего вылечит.

Девочка вскочила на буланого коня с белой звёздочкой на

лбу, взяла в правую руку ременный повод с серебряными бляшками, в левую — плетё с узорчатым костяным черенком.

Резво бежал длинногривый конь, уздечка подскакивала, как хвост трясогузки, кольца на сбруе весело звенели.

Телдекпей-кам-старик сидел у порога своего берестяного аила. Острым ножом резал из куска берёзы круглую чашку-чойчойку. Услыхал резвый топот копыт, весёлый перезвон колец на сбруе, поднял голову и увидал девочку на буланом коне.

Статно сидела она в высоком седле, полыхала на ветру шёлковая кисточка, пели заморские раковины в тугих косах.

Нож выпал из руки кама, чойчойка в костёр покатилась.

— Дедушка,— молвила девочка,— мой отец заболел, помогите нам.

— Я вылечу твоего отца, Шёлковая кисточка, если ты за меня замуж пойдёшь.

Брови у кама — белый мох, борода — колючий кустарник.

Испугалась Шёлковая кисточка, дёрнула повод коня и усакала.

— Завтра на утренней заре приду! — крикнул ей вдогонку Телдекпей-кам.

Прискакала девочка домой, в аил вошла:

— Завтра на утренней заре Телдекпей-старик будет здесь.

В небе ещё звёзды не растаяли, в стойбище люди молока ещё не заквасили, мясо в котлах ещё не сварилось, белую кошму по полу ещё не расстелили, как послышался топот копыт. Это ехал верхом на широком, как горный сарлык, коне Телдекпей-кам.

Самые старые старики вышли навстречу. Коня под уздцы взяли, стремя поддерживали.

Молча, ни на кого не глядя, кам спешил, ни с кем не здоровавшись, вошёл в аил. Следом старики внесли двухпудовую колдовскую шубу и положили её на белую кошму.

Красную колдовскую шапку туда же поставили. Бубен повесили на деревянный гвоздь, под бубном зажгли костёр из душистых ветвей можжевельника.

Весь день, от утренней зарп и до вечерней, кам сидел, но поднимая век, не шевелясь, не говоря ни слова.

Поздней ночью Телдекпей-кам поднялся, глубоко, до самых бровей, надвинул свою красную шапку с нитями разноцветных бусин. Перья филина торчали на шапке, как два уха, красные лоскуты трепыхались сзади, как два крыла. На лицо упали крупные, как град, стеклянные бусы. Кряхтя поднял кам с белой кошмы свою двухпудовую шубу, охая просунул он руки в жёсткие рукава. По бокам шубы висели сплетённые из колдовских трав лягушки и змеи, на спине болтались шкурки дятлов. Снял кам с гвоздя кожаный бубен, ударил в него деревянной колотушкой. Загудело, зашумело в аиле, как на горном перевале зимней порой. Люди похолодели от страха. Кам плясал-камлал, бубенцы звенели, бубен гремел. Но вот всё разом смолкло. В тишине будто гром загрохотал — это в последний раз ухнул бубен и затих.

Телдекпей-кам опустил на белую кошму, рукавом отёр пот со лба, пальцами расправил спутанную бороду, взял с берестяного подноса сердце козла, съел его и сказал:

— Прогоните Шёлковую кисточку, злой дух сидит в ней. Пока она по стойбищу ходит, отец её здоровым не встанет. Горе-беда эту долину не оставит. Малые дети навеки уснут, отцы их и деды страшной смертью умрут.

Женщины со страху лицом вниз на землю упали, старики с горя ладони к глазам прижали. Юноши на Шёлковую кисточку посмотрели, два раза покраснели, два раза побледнели.

— Посадите Шёлковую кисточку в деревянную бочку, — гудел кам, — стяните бочку девятью железными обручами, заколотите дно медными гвоздями, бросьте в бурную реку...

Сказал, сел на лохматого коня и поскакал к берегу бурпой реки, к своему берестяному аилу.

— Э-эй, — крикнул он своим рабам, — ступайте на реку! Вода принесёт мне большую бочку, поймайте её, сюда притащите, а сами бегите в лес. Плач услышите — не оборачивайтесь. Стоп,



крик по лесу разольётся — не оглядывайтесь. Раньше, чем через три дня, в мой аил не приходите.

Семь дней, семь ночей люди на стойбище не решались посадить в бочку милую девочку. Семь дней, семь ночей с девочкой прощались. На восьмой посадили Шёлковую кисточку в деревянную бочку, стянули бочку девятью железными обручами, забили дно медными гвоздями и бросили в бурную реку.

В тот день у реки сидел на крутом берегу сирота рыбак Балыкчи.

Увидел он бочку, выловил её, принёс в свой шалаш, взял топор, выбил дно, а там — девочка!

Как стоял Балыкчи с топором в руке, так и остался стоять. Словно кузнечик, подпрыгнуло его сердце.

- Девочка, как тебя зовут?
- Шёлковая кисточка.
- Кто посадил тебя в бочку?
- Телдекпей-кам повелел.

Вышла девочка из бочки, низко-низко рыбаку поклонилась.

Тут рыбак свистнул собаку, свирепую, как барс. Посадил Балыкчи собаку в бочку, забил дно медными гвоздями и бросил в реку.

Вот увидели эту бочку рабы Телдекпей-кама, вытащили её, принесли в берестяной аил, поставили перед старым колдуном, а сами убежали в лес.

Всё сделали, как приказал кам. Но ещё до леса не дошли, крик услышали.

— Помогите,— кричал кам,— помогите!

Однако рабы, плач услышав, не обернулись. стон услышав, не оглянулись — так приказал кам.

Только через три дня пришли они из леса домой. Кам лежал на земле чуть жив. Одежда его была в клочья изорвана, борода спутана, брови взлохмачены. Шубы двухпудовой больше ему не надевать, в кожаный бубен не стучать, людей не стращать.

А девочка осталась жить в зелёном шалаше. Балыкчи не ходил теперь рыбу удить. Сколько раз, бывало, возьмёт удочку, шагнёт к реке, оглянется, увидит девочку на пороге шалаша, и ноги сами несут его обратно. Никак не мог он наглядеться на Шёлковую кисточку.

И вот взяла девочка кусок бересты, нарисовала соком ягод и цветов на ней своё лицо. Прибила бересту к палке, палку воткнула в землю у самой воды. Теперь рыбаку веселее было сидеть у реки. Торко-чачак смотрела на него с бересты как живая.

Однажды загляделся Балыкчи на разрисованную бересту и не заметил, как большая рыба клюнула, удилице выпало из рук, сбило палку, береста упала в воду и уплыла.

Как узнала про то девочка, громко заплакала, запричитала, ладонями стала тереть брови, пальцами растрепала косы.

— Кто найдёт бересту, тот сюда придёт! Поспеши, поспеши, Балыкчи, догони, догони бересту! Выверни свою козью шубу мехом наружу, чтобы тебя не узнали, сядь на синего быка и скачи вдоль по берегу.

Надел Балыкчи козью шубу мехом наружу, сел на синего быка, поскакал вдоль по берегу реки.

А разрисованная береста плыла всё дальше, всё быстрее. Догнать её Балыкчи не успел.

Принесла вода бересту в устье реки, здесь она зацепилась за ветку тальника и повисла над быстрой водой.

В устье этой реки, на бескрайних лугах, раскинулось стойбище Карá-каана. Бесчисленные стада белого и красного скота паслись в густой траве.

Увидали пастухи на красном тальнике белую бересту. Подошли поближе, взглянули и загляделись. Шапки их вода унесла, стада их по лесам разбрелись.

— Какой сегодня праздник? Чью справляете свадьбу? — загремел Кара-каан, подскакав к пастухам. — Эй, вы! Лентяи!

Он девятихвостую плеть высоко поднял, но увидел бересту и плеть уронил.

С бересты глядела девочка. Губы у неё — едва раскрывшийся алый цветок, глаза — ягоды черёмухи, брови — две радуги, ресницы, словно стрелы, разят.

Схватил Кара-каан бересту, сунул за пазуху и закричал страшным голосом:

— Эй, вы! Силачи, богатыри, алыпы и герои! Сейчас же на коней садитесь! Если эту девочку мы не найдём, я всех вас пикой заколю, стрелой застрелю, в кипятке сварю.

Тронул повод коня и поскакал к истоку реки. Следом за ним мчались воины, гремя тяжёлыми доспехами из красной меди и жёлтой бронзы.

Позади войска конюшие вели в поводу белого, как серебро, быстрого, как мысль, иноходца.

Увидав это грозное войско, Шёлковая кисточка не заплакала,

не засмеялась. Молча села на белого, как серебро, иноходца, в расшитое жемчугом седло.

Так, не плача, не смеясь, ни с кем не заговаривая, никому не отвечая, жила девочка в шатре Кара-каана.

Вдруг одним солнечным утром она в ладоши захлопала, засмеялась, запела и выбежала из шатра.

Посмотрел Кара-каан, куда она смотрит, побежал, куда она бежала, и увидел молодца в козьей шубе мехом наружу, верхом на синем быке.

— Это он тебя рассмешил, Шёлковая кисточка? Я тоже могу надеть рваную шубу, сесть на синего быка не побоюсь! Улыбнись ты и мне так же весело, спой так же звонко.

И Кара-каан сорвал с плеч Балыкчи козью шубу, на себя надел, к синему быку подошёл, за повод взялся, левую ногу в железное стремя поставил.

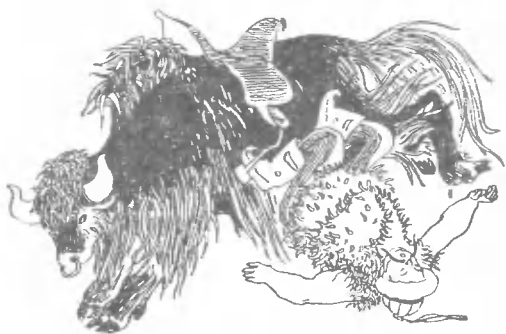
— Моо, моо! — заревел бык и, не дав хану перекинуть через седло правую ногу, потащил его по долинам и холмам.

От стыда лопнула чёрная печень Кара-каана, от гнева разорвалось его круглое сердце.

А Шёлковая кисточка взяла рыбака-сироту Балыкчи за правую руку, и они вернулись вдвоём в свой зелёный шалаш.

Найдите и вы своё счастье, как они своё нашли.

Тут и нашей сказке конец.





БОГАТЫРЬ КУЛАКЧА

Жил-был когда-то в берестяном аиле старик Кураны со своею старухой. Зубы у старика пожелтели, кожа высохла, бородёнка белая стала, как у белого козла. Но сам старик быстрый, лёгкий был, всякое дело у него спорилось. К старости спина у него согнулась, и прозвали его Кураны-горбатый.

Не было у стариков ни земли, ни скота, а всё их имение — пегий конь. Ноги коня с годами длинной шерстью, как мохом, обросли, грива, словно инеем подёрнутая, поседела. Верховом на пегом коне старик Кураны пас неисчислимые стада Чадак-пая.

Вот однажды заболела старуха, и пошёл старик к Чадак-паю. Низко ему поклонился:

— Помогите нам.

На стойбище Чадак-пая шёл большой пир, гости мясо ели, чай пили.

— Помогу, помогу. Такому верному пастуху как не помочь? — сказал Чадак-пай. — Мы сегодня двадцать баранов зарезали, — возьми себе все сорок бараньих ушей, сваришь своей старухе похлёбку.

Пришёл Кураны домой, поставил котёл на очаг, налил воды и высыпал туда бараньи уши. Здесь ушки согрелись, проклюнулись у них глазки, пробились ножки, ручки. Выскочили они из котла, стали по айлу бегать, скакать.

Старуха засмеялась, болезнь ушла.

Сначала старики ушкам обрадовались, потом устали, спать легли и ушек всех под одно одеяло уложили.

Утром уехал Кураны на пастбище, вечером возвращается, а старуха и говорит ему:

— Беда с этими ушками: суп едят — обжигаются, спать лягут — дерутся, встанут — через костёр прыгают. Того и гляди, в огонь попадут!

— Ничего не поделаешь, надо терпеть, — сказал старик, — куда их денешь? Была бы на них шерсть, пустил бы их на волю.

И тут ушки встали на четыре лапки, обросли шерстью, выпустили хвосты, обернулись сусликами и убежали.

— Ох, ах! — запричитала старуха. — Что ты натворил, старик, своим длинным языком! Обиделись ушки и нас покинули. Хоть бы один остался, был бы он нам вместо сына.

— А я остался! — вдруг услышали старики тонкий голос. — На меня чашка опрокинулась!

Подняли чашку, а под ней, оказывается, малыш сидит. Обрадовались старики, имя своему малышу дали — Ушко-Кулакчя.

Был Кулакча так мал, что мог верхом на черенок ножа сесть, в опрокинутой чашке будто в аиле жил. Никогда не унывал, песни пел, смеялся.

Вот однажды сказал своему сыночку старик Кураны:

— Милый Кулакча, нам совсем есть нечего. Я поеду верхом в соседнее стойбище, попрошу там у людей хоть горсть ячменя, а ты вместо меня выгони скот на пастбище.

Утром овцы сами к сладкой траве, к чистой воде поспешили. Но как их вечером к стойбищу пригнать?

В густой траве пастушка Кулакчу не видно, у звонкой реки голоса его не слышно.

Подожёл Кулакча к вожаку-козлу, забрался к нему в ухо да как крикнет! Испугался козёл, побежал к стойбищу, овцы за ним.

Увидал Чадак-пай овец, а пастуха нет. Чадак-пай как Катунь-река у камней зашумел, как бурян загремел:

— Где Кураны-горбатый? Почему скот без пастуха?

От этого страшного крика малыш Кулакча на землю упал, спрятался в норке своего братишки-суслика и сидит там.

— Эй, рабы! — закричал Чадак-пай. — На коней садитесь, на пастбище скачите, Кураны-горбатого ко мне приведите.

Трое рабев вскочили на коней, поскакали на пастбище, но Кураны там нет. Помчались к берестяному аилу — там у костра сидела старуха.

— Эй, старая, — закричали рабы, — где Кураны-горбатый?

— Пошёл у людей ячменя просить...

Рабы опять на коней вскочили, вернулись к Чадак-паю, повторили, что слышали, да ещё от себя, рабы души, прибавили:

— Повелишь из-под земли его вытащить — вытащим, повелишь с неба достать — достанем, но на пастбище мы его не нашли.

Чадак-пай руками толстые бока подпирает, правую ногу в красном сапоге вперёд выставил, нижнюю губу выпятил, глаза его, как ядовито-жёлтые озёра, зубы его, как волчьи клыки. Он усы погладил и произнёс:

— Перелётная птица к своему гнездовью возвращается. Беглый раб обратно к хозяину придёт. За то, что трёх коней своих напрасно потревожил, накажу старика Кураны.

Так пригрозил и пошёл в свой белый шатёр.

Когда все люди разбрелись по стойбищу, вылез Кулакча из порки, отряхнулся и побежал домой.

Старик Кураны, оказывается, уже здесь, у костра сидит, трубку курит, а старуха кашу успела сварить.

— Здравствуй, сынок, — сказали старики, — видишь, добрые люди нас пожалели, ячменя дали.

Кулакча поел, залез под опрокинутую чашку — спать не спит, лежать не лежит.

Вот слышит он топот коня, вот слышит он голос Чадак-пая:

— На кого вчера скот мой оставил, Кураны?

У старика руки дрожат, коленки друг о дружку стучат, голова поникла. Слова в ответ сказать не смеет.

А Чадак-пай нахмурил брови:

— Вчера трое моих рабов верхом на быстрых конях тебя, Кураны-горбатого, искали, коней чуть до смерти не загнали. Кони вспотели, изо рта пена хлопьями падала. За пот и пену трёх коней ты, Кураны, будешь три месяца даром работать.

Поднял плеть и ускакал.

— Кто теперь голодных нас накормит, — запричитала старуха, — кто холодных согреет?

Тут Кулакча вышел из-под чашки и сказал:

— Холодных вас я обогрею — костёр зажгу. Голодных вас я накормлю — пищу добуду. Посадите меня верхом на пегого коня.

Подняла старуха своего сыночка, посадила верхом на палец, дала вместо поводов оленью жилу:

— Скачи, скачи, мой сын, Кулакча-богатырь.

Сдвинул брови Кулакча и сказал густым голосом:

— Завтра утром заседлайте коня, приторочьте к седлу пустые сумины.

Так сурово-сердито он говорил, что родители не посмели ослушаться. Приказал Кураны своей старухе сплести сыночку новую шапку с двумя шёлковыми кисточками. Утром посадили его на коня, и поехал Кулакча, держась за гриву.

Медленно переступает мохнатыми ногами пегий конь. Идёт по синим горам, по белым пескам, по чёрным камням, по густой траве. Большие реки мелкими бродами переходит, через быстрые ручьи шагает, не забрызгав копыт.

Кулакча песни поёт о высоких горах, о чистых ключах, о Катунь-реке. Так с песней пришли на стойбище, где айлы, как стога, тесно друг подле друга стоят.

Услыхали люди песню, вышли из айлов.

— Кто поёт так красиво? Где ты, певец, отзовись?

Стоит конь с пустыми суминами, перекинутыми через седло, опустил до земли седую гриву, губы у него отвисли.

Песня гудит, звенит, а певца не видно.

Но вот оборвалась песня, и люди услышали голос:

— Сыпьте ячмень в сумины! Кураны-горбатый есть хочет!

Испугались люди, насыпали ячменя полные сумины, перекинули сумины через седло, хлестнули коня:

— Беги подальше, говорящий конь!

Спешит Кулакча домой, радуется. Он синему цветку протяжную песню поёт, а цветам жёлтым и красным плясовые песни напевает. Улыбаются певцу цветы жёлтые, смеются красные, даже всегда печальные синие подняли головки.

Приехал Кулакча домой.

— Отец, мать, я вам ячменя привёз!

Будто солнце к солнцу прибавилось, луна — к луне, так радостно стало в ветхом айле. Смеются отец и мать, ласкают малыша.

— Скажи, отец, — спрашивает Кулакча, — почему ты Чадак-пай боишься?

Опустил голову отец, трубку изо рта вынул:

— Силён Чадак-пай.

Разгневался Кулакча и ушёл из дома.

Идёт он лугами, идёт лесами, по каменным россыпям ступает, с камушка на камушек прыгает. Люди малыша не замечают, собаки не чуют, только суслики тревожатся:

— Куда идёшь, братец?

— К айлу Чадак-пая.

— И мы с тобой.

Идёт Кулакча, а за ним бегут тридцать девять сусликов. Пришли к белому айлу. Суслики остались снаружи, а Кулакча пролез в щёлку, притаился в аиле. Никто его не видит, не слышит, но сам он всё примечает.

Чадак-пай сидит на белой кошме, ест жирное мясо, сало с губ на землю каплет. Старшая жена мешает длинной палкой кислое молоко — чегень, — налитое в высокую узкую посудину. Младшая жена деревянного идола тёплой хмельной аракой обрызгивает, чтобы всегда в доме богатство-счастье было.

Поел Чадак-пай, усы ладонями обтёр и говорит:

— Никому никогда ничего не надо дарить. Но следует с каждого взыскивать. Вот взыскал я с Кураны-пастуха за пот моих трёх коней, а кони только поразмялись маленько, ничуть не вспотели...

Услыхав такие слова, почернел от гнева Кулакча. Позвал он братьев-сусликов. Те прибежали в аил, стукнулись о землю и снова стали бараньими ушками. Выпустили ножки, замахали ручками, замигали глазками и давай бегать по полу, по жердям!

Старшая жена испугалась, чегень разлила, палку из рук выронила, Чадак-пая по лбу стукнула. Младшая жена идола опрокинула, упала, Чадак-пая по затылку больно ударила.

А Кулакча взобрался на край дымохода, сидит там, ногами болтает, смотрит вниз и смеётся.

— Кто ты, наверху сидящий? — взмолился Чадак-пай, на колени опустился, брюхом земли коснулся. — О-о-о! Смерть ли меня чует, добро ли меня ждёт? Окажи помощь, помоги...

— Будешь знать, как обижать Кураны-пастуха! — запищали с пола, с жердей бараньи ушки, затопали ножками, захлопали ручками, замигали глазками.

— Ох-ох! — стоял Чадак-пай.

— О-о-о! — плакали его жёны.

А Кулакча так сильно смеялся, что упал с края дымохода, ударился о землю, встал и до неба достал.

Большой аил Чадак-пая ему как шапка, широкие кошмы свернулись под пяткой Ушко-богатыря, будто осенние листья.

Он шагал по Алтаю, а люди, кто верхом ехал, спешивались, чтобы красотой богатыря полюбоваться. Кто пешком шёл, на землю ложился, чтобы лицо богатыря увидеть.

Против большой горы он, как другая гора, а прежде, бывало, на черенке ножа верхом скакал, в деревянной чашке, как в аиле, жил.

Когда Кулакча-богатырь на коне едет, тридцать девять его братцев следом за ним бегут, ножками топочут, ручками машут. Когда Кулакча-богатырь пешком идёт, тридцать девять братцев на коне в седле сидят, песни поют, смеются. Кулакча-богатырь с ними не расстаётся, потому что в беде и маленький может большому помочь.

Весело, светло в аиле старика Кураны, когда соберутся все тридцать девять маленьких и один большой сын!

Солнечной радости не знавшим старикам родителям своим богатырь Кулакча солнце дал, лунной радости не знавшим — луну подарил. Будь же ты, Кулакча, как росистый куст цветущего маральника, свежий, как смолистый корень кедра, крепкий. Сто лет живи, на быстром коне езд. На этом наша сказка кончается. Что нужно было вам, люди, рассказать мы всё рассказали.





ЛИСА-СВАХА*

На лесистой горе спала красная лиса. Много ли, мало спала — не помнит. Проснулась, ушами повела, потянулась:

— Ой-ой, как я голодна-а... Пустой живот к рёбрам присох...

От голода позабыла страх и побежала на опушку леса, где стоял ветхий аил.

«Около человека всегда есть чем поживиться, — говорила себе лиса. — Курица ли, ремень ли, кость или копыто — мне всё равно, лишь бы погрызть».

Однако не только курицы или ремня, но ни кости, ни даже копыта не нашла.

«Видно, жильё это люди давным-давно покинули,— подумала лиса.— А может, они там что оставили? Кисет ли кожаный или хоть замасленный лоскуток...»

Сунула морду в щель да так и осталась стоять-смотреть.

«Что случилось? Почему костёр седым пеплом покрыт? Отчего человек неподвижно у потухшего очага лежит, положив под голову обгорелую плаху? Жив он или умер?»

Вскочила лиса в аил, дёрнула лежащего за ухо, тот открыл глаза — они на утренние звёзды были похожи.

«Ух, какой парень! — вздохнула лиса.— Таких красивых я ещё никогда не видывала».

— Якши болсын! — твякнула она.— Будь здоров!

Но ответа не услышала. Лежит красавец и молчит.

Лиса не вытерпела:

— Что, сынок, лежишь ты у остывшей золы? Не слышишь разве, о чём сороки сегодня весь день стрекочут? Великий Караты-каан со всего света женихов приглашает, самому достойному свою дочь, прекрасную Чайнэш, отдаст. Почему ты не идёшь во дворец?

— Потому что меня зовут Яланаш — Без рубахи. На мне и в самом деле никогда рубахи не было.

— Что же ты тут делаешь, Яланаш, один в этом холодном аиле?

— Лежу, смерти дожидаясь. Уже десять дней я ничего не ел.

— Э, да мы с тобой, оказывается, товарищи! Однако вовремя я сюда заглянула. Думаю, породниться тебе с Караты-кааном не худо бы. Ты будешь сыт, и мне, лисе, с твоего стола что-нибудь перепадёт.

— Ты ещё потешаешься? — рассердился Яланаш.— Но хоть я беден, а смеяться над собой никому не позволю!

Выватил из-под головы обгорелое полено и швырнул в лису.

Но лиса увернулась, полено задело только левую заднюю лапу.

— Эх, Яланаш, Яланаш,— приговаривала лиса, зализывая

ушибленную лапу, — ты ещё не женился на дочери каана, а повадки у тебя настоящие ханские. Не сердись понапрасну, я ведь не простая лиса, я лиса-сваха. Уж если взялась, значит, дело будет слажено.

И, прихрамывая, голодная лиса побежала к Караты-каану:

— Якши болсын, великий каан! Яланаш привет вам шлёт. Он просит на время ваш самый большой котёл. Нам надо масло мерить.

— Ты глупая лиса, — засмеялся Караты-каан, — у Яланаша ни одной коровы нет, капли молока ему негде взять. Откуда у него может быть столько масла?

— Солнцем клянусь, великий каан, масла у Яланаша так много, что из всех котлов через край прямо на камни течёт. Я поскользнулась, чуть ногу не сломала. Видите? Хромаю теперь...

— Вот он, котёл, бери.

С этим котлом обежала лиса все стойбища, все кочевья:

— Подайте немного масла голодной лисе...

Кто ложку масла, кто половину ложки дал. Так, собирая понемногу, наполнила котёл и притащила Яланашу:

— Низко кланяется тебе непобедимый Караты-каан, просит подарок принять.

Съел голодный Яланаш сколько мог, ещё немного лиса ему в пустую чойчайку положила, остальное, что было в котле, понесла Караты-каану:

— Великий Караты-каан! Яланаш низко кланяется, просит подарок принять.

Заглянул Караты-каан в котёл и так долго смотрел, будто луну там увидел:

— Кхе... Кха-а... Как Яланаш разбогате-е-л...

— Да, немного денег есть у нас, — молвила лиса, — что тут таить? Яланаш просит у вас весы на время. Мы хотим наши деньги свесить.

— Глупая лиса, разве не может Яланаш свои деньги сосчитать?

— Ох, великий каан! Мы уже пять дней, пять ночей считаем. От этого счёта ум из моей головы выскочил. Сам Яланаш тоже без ума сидит.

Караты-каан хотел над лисой посмеяться — улыбка кривая получилась, смех в горле застрял.

— Хорошо, — сказал каан, — бери весы. Интересно, сколько пудов денег у Яланаша — Без рубахи? Хо-хо-ха...

Взяла лиса весы и пошла по стойбицам, по кочевьям гроши собирать.

Гроши сменила на копейки, копейки на рубли, рубли на десятки и прибежала к Яланашу:

— Долго ли ты тут будешь бездельничать? Смотри, вот сколько денег тебе Караты-каан послал. Я не простая лиса. Я лиса-сваха.

Тут Яланаш вскочил:

— Верная ты моя лиса! Что хочешь прикажи, всё исполню!

— Ладно, после поговорим, сейчас мне недосуг.

И, засунув самые новые монеты во все щели весов, лиса побежала к Караты-каану.

Увидал монеты Караты-каан, а лиса уже тявкает:

— Оказывается, тут деньги застряли? А мы и не заметили! Денег у нас так много, так много, просто девать некуда...

У Караты-каана пот на лбу выступил.

А лиса встала на задние лапы, через левую переднюю лапу хвост перекинула, правой глаза прикрыла и говорит:

— Ой, великий каан, стыд свой куда спрячу? Но хоть и стыдно, а сказать должна. Я не простая лиса, я лиса-сваха. Яланаш хочет вашу единственную дочь, прекрасную Чайнеш, просить... На красоту его глядя, не смогла ему отказать — вот пришла к вам.

Караты-каан даже посинел от гнева, глаза вытаращил и рывкнул:

— Голову твою сейчас отрублю — к хвосту приставлю, хвост оторву — к пее пришью!

— Прославленный каан! Любую цену назовите. Всю нашу

белую землю, весь золотой наш Алтай за красавицу Чайнеш к вашим ногам положим.

— Пусть пригонит мне Яланаш тысячу белых овец, тысячу красных быков, тысячу чёрных сарлыков, тысячу одногорбых верблюдов, сто собольих шкур — пусть пришлёт.

— Почему так мало просите? Яланаш может ещё больше подарить, он своего скота не считает, собольим шкуркам давно счёт потерял. Выдержит ли мост, когда наши стада перегонять на ваши пастбища будем?

— По этому мосту сам стопудовый, семиголовый Дзельбегён на своём синем быке ездит!

— Якши болсын! Будьте здоровы! — сказала в ответ лиса. — Через семь дней наши стада встречайте, до этого срока никого на мост не пускайте.

Каан слова сказать не успел, а лисы уже нет.

Когда убежала — никто не заметил, куда побежала — никто не видел. Бежала лиса, торопилась, на трёх ногах к бурной реке скакала. Прибежала, полезла под мост и принялась зубами свои подтачивать. Семь суток, ни днём, ни ночью не отдыхая, работала. На восьмой день явилась к Яланашу:

— Скорей, скорей к Караты-каану беги! Прекрасная Чайнеш тебя ждёт.

— Идти в рваной овчине? Без рубахи?

— Ты только на мост взойди, там на мосту для тебя прекрасная одежда лежит.

А сама вперёд побежала, во весь голос заверещала:

— Дорогу! Дорогу верблюдам! Сторонись, народ, быки идут! Эй, выходите овец принимать!..

Яланаш шёл и смеялся:

— Откуда у тебя такая прыть, лиса?

Ступил на мост — кряк! — и мост провалился.

— Ой, ой! — взывала лиса. — Скот погиб, собольи шкурки пропали... Ой, ой, ничего не жаль, спасите хотя бы Яланаша! Спасите, помогите!..

Богатыри, силачи, алыны и герои верхом на могучих конях к

реке прискакали, в бурную реку вошли, Яланаша вытащили, на берег положили.

Яланаш — Без рубахи был красивее богатырей в богатых одеждах, прекраснее алышов, блиставших драгоценными доспехами.

Караты-каан послал Яланашу шапку из собольих лапок, шубу, крытую жёлтым шёлком.

Жёлтая шёлковая шуба как солнце горит, из-под собольей шапки глаза Яланаша тихо сияют.

Медленно он голову с земли приподнял, на прекрасную Чайнеш взглянул.

Дочь каана опустилась на колени, за правую руку Яланаша взяла, подняться с земли помогла ему.

Тут стали свадьбу справлять, в игры играть, мясо варить, араку пить.

Один только Яланаш не ест, не пьёт.

— О чём печалишься? — дёрнула его за полу лиса.

— Нет на этом пиру ни отца моего, ни матери, ни семерых моих братьев. Никто из моих родных счастьем моему не порадуется.

— Где же они?

— Они в горах золото и камень добывали, каану змеинному дворец строили. А как работу кончили, каан змеинный их заглотил. Я один остался, мал ещё был, на работу не ходил.

— Кто умер, тот живым не встанет, — вздохнула лиса. — Но дворец тот золотой будет твоим.

Семь дней во дворце Караты-каана свадьбу справляли, на восьмой коней оседлали, поехали к Яланашу.

Лиса вперёд выскочила:

— Я дорогу покажу, за мной следом скачите!

Едет Караты-каан на белом жеребце с четырьмя ушами, едут его богатыри на вороных конях. На рыжем, как золото, жеребце скачет Яланаш. Прекрасная Чайнеш сидит на буланом иноходце.

— Эй, люди, — кричит лиса, — Караты-каан с неисчисли-

мым войском сюда спешит! Скот колите, собольи шкурки тащите!..

Так кричала, пока не охрипла. Всех гостей мясом накормила, собольими шкурками одарила. Устала бедняга, да отдыхать не время ещё. На трёх здоровых, на одной хромой лапе вскарабкалась она к золотому дворцу каана змей.

— Эй, змеи! Яланаш с богатырями, алыпами и героями сюда скачет, сейчас вас всех убьёт! За отца, за мать, за семейных братьев отомстить хочет.

Змеи выползли из золотых нор, из серебряных щелей:

— Что нам делать? Как спастись?

— Ползите на скошенный луг, спрячьтесь в стоге сена.

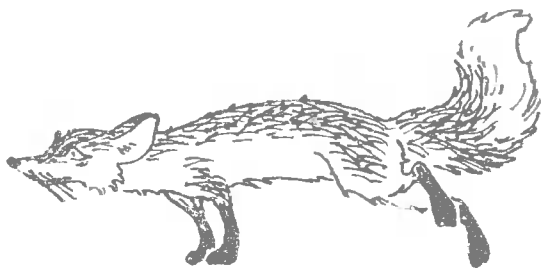
Злые змеи все до одной заползли в стог. Змеиный каан глубже всех зарылся.

Стукнула лиса кремнём по огниву, высекла искру, подожгла сено, стог вспыхнул, злые змеи все до одной сгорели.

Побежала лиса навстречу Яланашу:

— Пожалуйте в ваш золотой дворец! А мне дайте косточку с мясом, если не жалко, и я побегу в лес к своим деткам.

Взяла кость и убежала. Больше эту лису Яланаш не видал. Якши болсын! Будь здорова, лиса, лиса-сваха!





КАК ВОЛКИ НА АЛТАЕ ПОЯВИЛИСЬ

Жил на Алтае Сюмелу-пай. Он ездил на вороном иноходце, ходил в шубе, крытой чёрным шёлком.

Вот одним белым утром поехал Сюмелу-пай на пастбище, захотел он поглядеть на свои стада рогатого скота, на свои табуны всех шестидесяти мастей.

Плавню бежит вороной иноходец, важно сидит в высоком седле Сюмелу-пай. А навстречу ему, верхом на свирепом быке, — алмыс-людоед. Глаза у алмыса — кипящие котлы, зубы — острые ножи.

— О-о! — вскричал алмыс. — Давно, слышал я, живёт на

земле, в нашем Алтае славный герой Сюмелу-пай. Не вы ли это будете?

У Сюмелу-пая нижняя губа отвисла, пот со лба течёт, а сам дрожит в своей тёплой шубе.

— Д-да, я Сюмелу-пай. Приходите завтра в мой восьмигранный кошменный аил. Я приготовлю для вас лучшее угощение, встречу вас в самой хорошей одежде, на самом быстром коне.

— Ждите. Приду. Однако, если обманете, худо вам будет.

Сюмелу-пай дёрнул повод, ударил девятихвостой плетью вороного иноходца. Как гроза примчался на стойбище, как молния засверкал, как железо загремел:

— Эй, рабы! Навьючьте моё неисчислимое добро на мой бесчисленный скот. Я буду кочевать за семь гор, за девять рек.

Белый скот качнулся, как молодая трава от ветра, табуны тронулись, как вода в ледоход. Народу собралось — чёрный лес!

К вечеру переправились через две реки, через три горы. Сюмелу-пай немного опомнился, губу подобрал, пот со лба рукавом отёр и говорит:

— Эй, приведите ко мне пастушонка, сироту Чимирика.

Чимирик всегда спал на голой земле, рядом с собаками, ел из щербатого черепка.

На его ногах обувки нет, на его плечах шубы нет.

Снял Сюмелу-пай со своих плеч шубу, крытую чёрным шёлком:

— Надень эту шубу, Чимирик.

Приказал Сюмелу-пай заседлать лучшего коня:

— Садись в седло, Чимирик.

Сирота-пастушонок в таком высоком седле никогда не сидел, на таком резвом коне не скакал, такой шубы не нашивал. Головы поднять не смеет, повод в руку взять не отваживается.

А Сюмелу-пай говорит ему ласково:

— На старом стойбище, в моём восьмигранном айле я оставил стрелу с бронзовым наконечником. Поскачи на стойбище, Чимирик-малыш, дитя моё, привези мне стрелу.

Поскакал Чимирик на старое стойбище, спешился, вошёл в кошечный восьмигранный айл Сюмелу-пая и чуть не упал со страха. Возле костра спал-храпел человек, на человека непохожий, зверь, на зверя непохожий. Стрела с бронзовым наконечником висела в колчане над головой спящего. Чимирик только руку протянул, а спящий уже проснулся. Глаза у него — два кипящих котла, зубы — острые ножи. Чимирик ногой дверь толкнул, выскочил из айла.

— Постой! погоди, милое дитя! — закричал алмыс тонким голосом. — Глаза твои полны огня, грудь твоя полна ума, дай мне твою правую руку, скажи мне, где хозяин твоей чёрной крытой шёлком шубы, где хитрый Сюмелу-пай?

Чимирик руки алмысу не дал, о Сюмелу-пае ничего не сказал. Прыгнул в седло, хлестнул коня. Но конь с места не идёт, только головой мотает. Оказывается, алмыс схватил коня за хвост, держит, не пускает.

Чимирик спрыгнул на землю и побежал.

Алмыс в три глотка проглотил коня и пустился за Чимириком. Бежали сквозь леса, перепрыгивали через ручьи.

Прибежал Чимирик к берегу чёрного озера. Дальше пути нет.

На берегу озера поднимался к небу железный тополь с бронзовыми ветвями. Чимирик спрятался за железный ствол, толщиной в десять обхватов. Алмыс за ним. Так бежали они кругом тополя, алмыс ни на шаг не отстаёт. Вот уже поймал своей когтистой лапой кушак чёрной шёлковой шубы. Но Чимирик вытащил нож из кожаных ножен, рассек кушак. Алмыс с кушаком в руках упал на спину, а Чимирик полез вверх по стволу тополя. Алмыс вскочил, а Чимирик уже на самой высокой ветке.

Заохал алмыс, даже заплакал:

— Чуть-чуть опоздал я этого Чимирика за ноги вниз стащить...

Выхватил из-за пояса острый, как молодой месяц, топор и ударил по стволу железного тополя. Два дня, две ночи, не отдыхая, рубил.

На третье утро заскрипел, зашатался железный тополь. Ещё осталось раза два топором ударить, и дерево упадёт, да ноги алмыса уже не держат, руки не поднимаются.

— Устал я,— вздохнул алмыс.— Э, да ладно! Надломленное дерево не выпрямится, Чимирик-малыш никуда не денется. Отдохну-ка я маленько.

Сел на землю, прислонился спиной к стволу и заснул.

А сирота Чимирик смерть свою совсем близко видит. Громко-громко заплакал он.

Вот уже заворчал, заохал спящий алмыс, как проснётся, ударит топором по тополю, и Чимирику конец.

По дну синего неба кружил серый сокол, добычу искал, круглыми глазами кругом смотрел. И увидал на вершине тополя малыша в чёрной шубе.

— Почему ты сидишь здесь, малыш? О чём плачешь так горько?

— Как не плакать? Под деревом спит алмыс-людоед, проснётся и меня съест.

— Где же твои отец и мать?

— Нет у меня ни отца, ни матери. Сирота я, раб Сюмелу-пая. Его скот пасу, кроме двух серых собак, никто со мной не знает.

Сокол распрямил крылья и улетел. Он спешил на пастбище Сюмелу-пая. Он искал двух серых собак.

Сколько времени сидел Чимирик на ветке сломанного тополя, сколько времени алмыс под деревом спал, кто знает? Вдруг чёрная пыль с земли к небу поднялась, белая туча с неба на землю упала. И увидал Чимирик двух серых собак, двух своих верных друзей. Язык свисает у них изо рта, как красное пламя, длинные хвосты по земле стелются. Вцепились серые со-

баки острыми клыками в алмыса и потащили его к чёрной воде чёрного озера.

— Слушай, верный наш Чимирик,— сказал старший пёс,— мы нырнём вместе с алмысом в озеро, и, если всплывёт чёрно-бурая кровь, смейся, радуйся. Если красная кровь на воде покажется, плачь, горюй.

Собаки бросили алмыса в воду и сами нырнули.

Чимирик соскочил с дерева, смотрит на воду, ждёт. Вот показалась чёрно-бурая кровь. Чимирик подпрыгнул, в ладоши захлопал. Но тут всплыла кровь красная. Загоревал Чимирик, заплакал. Много-долго не прошло, как опять выступила на воде чёрно-бурая кровь.

Чимирик погладил свои щёки и запел:

Льётся, льётся кровь алмыса,
Жирная, как масло, чёрная, как яд.
Эй, алмыс, людей глотавший,
Чёрной смертью погибай!

Как пропел эти слова Чимирик, так и вышли обе собаки из воды.

Молодая скачет, хвостом виляет, а старая сидит, рану на ноге зализывает.

— Надо целебной травы поискать,— сказал Чимирик.

— Некогда, некогда,— ответил старый пёс.— Сперва надо Сюмелу-пая наказать.

Вот пошли искать стойбище Сюмелу-пая. Хромой пёс всё медленнее, медленнее идёт. Потом и вовсе на свой хвост сел:

— Нет, вровень с вами шагать не могу. Ступайте сами, а я останусь в лесу.

И осталась серая собака в чащобе. Много-мало времени прошло, затосковала серая собака. «Если убиты мои друзья, тела их неведомо где высыхают. Если живы, должно быть, уже не придут ко мне». Ждала, ждала хромая собака и завывала:

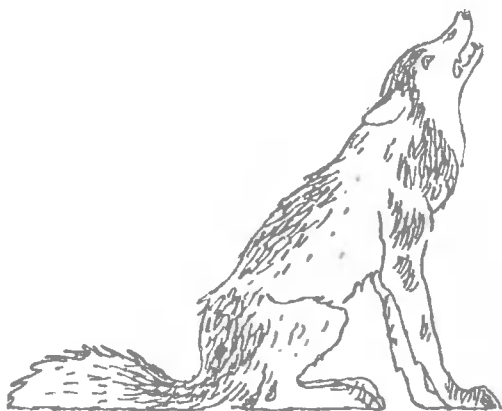
— Сюмелу-у-у-пая у-у-у-били, а меня забы-ы-ли...

И так тоскливо стало серой собаке, что она ещё дальше в лес убежала, ещё громче заплакала.

К людям серая собака теперь не подходит, на зов не отзывается, лаять она отвыкла, хвостом никогда не машет.

И дети, и внуки серой хромой собаки не лают, а громко воют в глухом лесу. Так появились волки на Алтае.

Сколько зим с той поры растаяло, сколько вёсен отцвело, не ведаем, сколько лет минуло, никто не считал, куда ушёл пастушок Чимирик, где вторая собака, никто нам не мог рассказать. За это время скалы рухнули, горы выросли. Там, где леса шумели, камни обнажились, на голых камнях тайга выросла. Давно всё это было, и теперь только сказка осталась.





АК-ЧЕЧЕК — БЕЛЫЙ ЦВЕТOK*

Далеко-далеко, там, где девять рек в один поток слились, у подножия девяти гор, шумел могучими ветвями синий кедр. Под его шёлковой хвоей, опершись на крепкий ствол, давным-давно стоял маленький шалаш.

В том шалаше жил пожелтевший от старости, словно дымом окуранный дед. И было у старика три внуки, одна другой краше.

Вот пошёл дед за дровами. Поднялся на лесистую гору, увидел лиственницу с чёрными сучьями.

— Это дерево на корню высохло. Один раз ударь — оно и упадёт.

Вытащил старик из-за пояса острый, как молодой месяц, топор, ударил по стволу. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочил страшный зверь да как вцепится зубами в руку!

— Ой, ой! — заплакал старик. — Отпусти меня! Я тебе что хочешь дам.

— Ладно, — отвечает зверь человеческим голосом. — Отдай мне твою любимую внучку.

Пришёл старик домой и говорит старшей внучке:

— Не пойдёшь ли ты к этому зверю? Я слово дал.

Оглянулась девушка, увидела зверя.

— Лучше, — говорит, — в воду брошусь!

Старик спросил вторую.

— Лучше удавлюсь! — ответила она.

— А ты, Ак-чечёк, мой Белый цветок, не согласишься ли?

Младшая внучка подняла голову. Её круглые глаза полны слёз.

— Что обещано, то должно быть исполнено. Чему быть, то и будет.

И повёл зверь девочку по долинам, по холмам, через реки, сквозь леса.

Пришли они на золотую поляну, где лиственницы всегда зеленеют, где светлый ключ без умолку стрекочет, где кукушка кукует весь год.

На краю этой поляны, под боком у синей горы, увидела Ак-чечек семь сопок, прозрачных, словно лёд.

Страшный зверь подошёл к средней сопке, ударил лапой — распахнулась в ледяной сопке дверь, и открылся белый высокий дворец.

Вошла Ак-чечек. На столах расписные чаши с едой. На стенах двухструнные тошшууры и серебряные свирели-шообры. Они сами собой звенят, а невидимые певцы песни поют. На привет они не отвечают, на зов не откликаются.

Стала жить Ак-чечек в сопке, голубой, как лёд, в белом дворце. Внутри нет никого, снаружи страшный зверь лежит, сторожит девочку день и ночь.

Когда Ак-чечек в своём худом шалаше жила, она утреннюю зарю песней встречала, зарю вечернюю сказкой провожала. Теперь не с кем было ей посмеяться, слово молвить некому.

А старшие сёстры вышли замуж за метких охотников. Вот надумали они проведать свою маленькую Ак-чечек:

— Если умерла она, мы хоть над могилой холодной поплачем, если жива — домой увезём.

Собираясь в дорогу, жирного мяса нажарили, в дорожные мешки-арчимачи сложили. Араки наварили, в кожаные ташауры налили. Оседлали сытых иноходцев и отправились в путь.

Услыхал страшный зверь топот копыт, увидел двух сестёр на резвых конях. Ударил лапой, и сверкающий ледяной дворец обернулся жалким шалашом. На голой земле — облезлые звериные шкуры, у костра — почерневшая деревянная чашка.

Вышла Ак-чечек из шалаша, низко сёстрам своим поклонилась.

— Милая ты наша Ак-чечек, — заплакали сёстры, — не нужно было тебе деда слушать... Садись на коня, взмахни плетью — и даже птица быстрокрылая тебя не догонит.

— Слова своего не нарушу, — молвила Ак-чечек.

— Ох, несчастливая ты родилась, Белый цветок! — вздыхали сёстры. — Видно, гордость твоя заставит тебя умереть здесь, в этом грязном шалаше.

Так, причитая и горюя, съели сёстры привезённое мясо, выпили араку, крепко-крепко свою Ак-чечек поцеловали, сели на коней и поскакали домой.

А страшный зверь ударил лапой — исчез шалаш, и на его месте стал дворец краше прежнего.

И вот хан той земли задумал женить своего старшего сына. Всем людям велел он прийти на свадебный пир.

Даже Ак-чечек услышала об этом празднике, даже Белый цветок позвали на пир.

Заплакала она, в первый раз застонала:

— Ах, не петь мне теперь, не плясать больше на праздниках!..

Страшный зверь подошёл к ней, человеческим голосом заговорил:

— Долго думал я, моя тихая Ак-чечек, чем тебя одарить, как наградить,— и положил к её ногам золотой ключ.— Открой большой сундук.

Золотым ключом Ак-чечек отомкнула алмазный замок. Откинулась ковкая крышка. Словно кедровые орехи, насыпаны в сундуке серебряные и золотые украшения. Опустила руки в сундук — будто в белой пене утонули руки в мягких одеждах.

Ак-чечек долго одевалась, выбирая. Но и без выбора, если бы она оделась, всё равно прекраснее её нет никого на земле.

Переступила Ак-чечек через порог — у порога бархатно-чёрный конь стоит. Жемчугом украшена узда, молочным блеском сияет серебряное седло, шёлковые кисти висят до земли.

В одежде белой, как раннее утро, Ак-чечек быстро-быстро поскакала на чёрно-бархатном коне. Вот перевалила она через высокие горы, перешла бродом быстрые реки, и слышит Ак-чечек позади себя топот копыт, слышит — голос, густой и низкий, ласковую песнь поёт:

Если стременем воду черпну,
Глотиёшь ли?
Если на расстоянии дня пути ждать буду,
Придёшь ли?

Обернулась Ак-чечек, увидала юношу. Он сидит верхом на вороном иноходце, на нём пшуба, крытая чёрным шёлком, на голове соболя высокая шапка.

Лицо у него, как вечерняя луна,— круглое и розовое, чёрные брови его красоты неописанной.



— Якпий-ба, как живёте? — поздоровался всадник.

— Якши, хорошо живу, — отвечает Ак-чечек. — Слердэ якши-ба? Как вы поживаете? — и сама слов своих не слышит.

Сердце будто иголкой проколото, по коже мороз пробежал. Глаз поднять она не смеет. Вниз смотрит, видит — ноги юноши вдеты в стремяна, медные, большие.

Будто опрокинутые чаши, глубокие эти стремяна, как два маленьких солнца сияют.

Если в ладонях воды принесу,
Отопѣшь ли? —

опять запел юноша.

Белый цветок и всадник в одно время приехали на великий свадебный пир.

Женщины не мигая на юношу глядят, из теши-таза мясо вынуть позабыли, чай остывает в чойчайках. Мужчины на Ак-чечек не дыша смотрят. Оборвались их песни, погасли их трубки.

И дед и обе сестры тоже были на этом пиру. Увидели они юношу и вздохнули.

— Если бы наша милая Ак-чечек с нами жила, этот молодец был бы ей женихом, — сказала старшая сестра.

— Когда бы Ак-чечек на этот пир явилась, она и сама к зверю не воротилась бы, — ответила вторая.

Не узнали они свою Ак-чечек в её светлой одежде.

Сама Ак-чечек подойти к ним не посмела.

Солнце прячется за гору. Ак-чечек садится на бархатно-чёрного коня.

Повод к себе потянула, тихонько оглянувшись, на юношу посмотрела, опустила глаза и хлестнула коня.

Вот уж проехала Ак-чечек половину пути и опять топот копыт, и опять тот же голос, мягкий и густой, ту же песню поёт:

Если на расстоянии месяца пути умирать буду,
Вспомнишь ли?

— Хорошо ли время провели? — слышит Ак-чечек.

Нежное лицо её стало белым, как сухое дерево. Слова вымолвить она не может. А юноша нагоняет её, вот-вот поравняется... Ак-чечек коня поторопила, не оглянувшись усккала.

У голубой сопки она спешилась.

— Здравствуй! — говорит ей человеческим голосом страшный зверь. — Каково было у хана? Каких людей там видала? Кто тебе понравился больше всех?

— Хорош ли был праздник, не знаю. Сколько там народу веселилось — не считала. У большого хана на великом пиру я только одного человека видела, только о нём и думала. Он ездит на вороном иноходце, носит пубу чёрного шёлка, соболья высокая шапка на голове у него.

Страшный зверь встряхнулся. Со звоном упала безобразная шкура. Тот, о ком Ак-чечек весь день думала, перед ней стоит.

— Добрая моя Ак-чечек — Белый цветок! Это я семь лет страшным зверем был, это ты своей верностью злые чары сняла, злое колдовство разрушила.

А невидимые топшууры и шооры звенели, гремели; смеялись и плакали невидимые певцы, слагая великую песнь. Наши кайчы-песенники её подхватили и нам с любовью принесли.





ОХОТНИК КАДЖИГЕЙ

Жил на Алтае охотник Каджигей-мерген, Каджигей-меткий. Он ездил верхом на саврасом коне. Крепкий лук висел на плече Каджигея, на поясе колчан с быстрыми стрелами.

Ни зверь на бегу, ни птица на лету от метких стрел Каджигея-мергена спастись не могли. Рука его не дрожала, глаз не ошибался.

В юные годы охотился он, чтобы пищу, одежду добыть, но чем дальше шло время, тем ненасытнее разил дичь Каджигей-мерген. Не бросал он охоты ни весной, ни летом. Без жалости бил птицу на гнезде, бил и зверя, кормящего детёнышей.

Люди говорили ему:

— Если дичь переведёшь, как будем жить?

— Когда не станет зверя здесь, на земле,— отвечал Каджигей-мерген,— я в верхний мир поднимусь, там буду охотиться.

Вот однажды собрался Каджигей-мерген на свою свирепую охоту. Сел на саврасого коня, кликнул верных собак — трёхгодовалую, двухгодовалую и щенка.

Много-долго не прошло, почуяли собаки зверя, пошли по следу и подняли трёх маралов. Поскакали маралы по холмам, побежали по долинам, мчались, перепрыгивая через ручьи, переплывая реки.

Но собаки не отстают, сам охотник верхом на саврасом коне тоже без отдыха бежит.

Три месяца длилась погоня.

Много раз Каджигей-охотник снимал с плеча крепкий тугой лук, натягивал упругую тетиву, но стрелы всё не спускал.

Прицелиться было ему никак невозможно, маралы то притались в частом лесу, то скрывались в высокой траве и бежали, бежали, усталости не зная.

Собаки гнались за маралами днём и ночью, без роздыха. Саврасый конь скакал, то вытягиваясь, будто тонкая жила, то сжимаясь, как тугая мышца.

На седьмой месяц погони примчались маралы к самому краю земли, с края земли ступили на край неба. И дальше побежали по небу, между звёзд.

Собаки за ними туда же, на небо!

Разгорячился Каджигей-мерген, спешился, оставил коня и бегом пустился за тремя маралами.

— Теперь в чистом небесном поле я вас не потеряю.

На бегу снял Каджигей-мерген с плеча лук, прицелился, спустил стрелу, да, видно, поспешил маленько и первый раз в жизни промахнулся.

Стрела полетела на запад, а маралы повернули к востоку. С досады Каджигей-охотник шапку сбросил, опять прицелился.

Вторая стрела всех трёх маралов пронзила и, окровавленная, полетела вперёд.

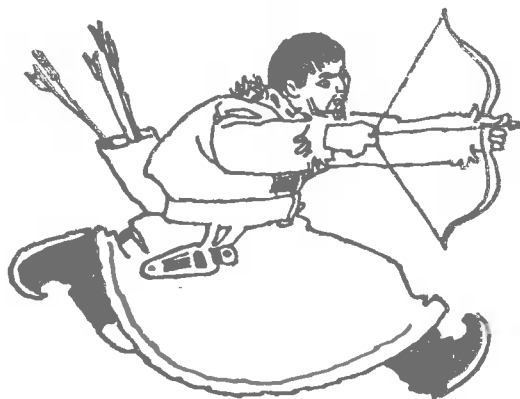
А подраненные маралы, шага не сбавляя, всё так же ровно бегут. За ними спешат три собаки.

Каджигей-охотник готов на бегу ещё одну стрелу спустить. А маралы всё убегают... И Каджигей-мерген всё спешит догнать их.

И вечно движутся они по небу, отдыха не зная, одним неразлучным созвездием Трёх маралов¹.

Так был наказан Каджигей-мерген, жестокий охотник.

¹ Т р и м а р а л а — созвездие Орион.





ЛЕСНАЯ СТАРУХА

Там, где светлый ключ не умолкает, где молодые лиственницы нежно зеленеют, где две кукушки звонко кукуют, кому долгую жизнь обещая, кому близкую кончину предсказывая, жили в ветхом аиле пожелтевшие, словно дымом прокопчённые, старик и старуха.

Детей своих они вырастили, сыновей на дальние кочевья благословили, дочерей замуж выдали, сами вдвоём здесь остались. Ни сундуков с добром, ни табунов, ни рогатого скота у них не было. Всё хозяйство — одна безрогая корова.

Старуха летом корни цветка кандыка выкапывала, на зиму

сушила, в молоке варила, тем и питались. А старик никаких запасов не делал, только трубку курил да кукушек слушал.

Вот однажды и говорит он своей старухе:

— Сегодня кукушки нам близкую смерть накуковали. Давай заколем корову, хоть перед смертью мяса поедим.

Старуха заплакала, руками всплеснула:

— И не стыдно тебе, старик? Столько лет молоком этой коровы мы сыты, а ты что надумал?

Но старик свою старуху не послушал, сделал по-своему.

Рассердилась старуха и ушла, старика покинула.

Шагала по холмам, по долинам, через ручьи она мостки перебрасывала, большие реки мелкими бродами переходила. На горные перевалы поднималась, вниз спускалась и пришла в тайгу, где между деревьями на полянах и по склонам гор паслись дикие теке-козлы и бурые маралы.

Старуха ласково зверям улыбнулась, протяжную горловую песню запела, и дикие звери к старухе подошли. Горным диким козлам она руку на спину кладёт, пугливых маралов гладит, кабаргу за ушами чешет, со зверями, как с людьми, беседует.

Дикие вольные звери ушами шевелят, слушают, будто речи старухины понимают, спокойными глазами на неё глядят.

И осталась старуха жить в тайге. Топором она поработала, жердей припасла, кору с лиственницы ободрала, поставила себе аил. Диких коз, маралух доила, молоко квасила, творог-арчу отжимала, потом на огне сушила, в дыму коптила — твёрдый вкусный сыр-курут ела. Хорошо, славно жила старуха, кожа на лице у неё стала гладкая. Однако старика своего она не забыла.

«Жив он или умер? Может, голодный, холодный в аиле своём один сидит?»

Вот положила она арчу в мешок, да ещё масла в пузырь налила, напизала две связки курута, взяла деревянный костыль и пошла навестить старика.

Когда к своему старому аилу подошла, заплакала, больно ветхим стал аил. Вытерла слёзы. Заглянула в щёлку и увидала: чёрный, худой старик сидит у потухшего костра и бормочет:

— От голода я совсем оглох, не слышал, что кукушки мне кукуют, жизнь обещают или о смерти говорят. Вот сейчас съем последний кусок и лягу умирать.

Сквозь слёзы улыбнулась старуха, взяла пузырь с маслом и кинула его в дымоход. А сама опять смотрит в щёлку.

Старик поднял с земли пузырь, поел масла, повеселел:

— Должно быть, кукушки добро мне обещали, надо шанку снять, послушать.

Снял шапку, и ему прямо на голову мешок с арчой упал.

— О-о, спасибо, мои кукушки,— обрадовался старик, творогу поел и совсем ободрился.

А тут вдруг ещё и две связки курута упали к его ногам.

— О-о, милые мои кукушки! Будьте вы всегда сытые, будьте, как овцы, жирные, спасибо вам!

Старуха громко засмеялась и вошла в аил:

— Ну, как ты тут поживаешь, мой богатырь!

— Хорошо живу! Когда еды не стало, мне кукушки накуковали масла, арчи-творогу и курута.

— Эх, ты, кукушкам молился! Не кукушки это, а я своими руками тебе пищу припасла, сюда принести не поленилась.

— Спасибо, спасибо! Теперь я не расстанусь с вами, моя старуха. Куда вы пойдете, туда и я тоже. Не бросайте меня...

Пожалела старуха своего чёрного старика.

— Ладно,— говорит,— возьму тебя к себе, только поклянись, что будешь всегда меня слушаться.

— Солнцем клянусь, что скажете, исполню, послушаться не посмею.

Долго ли, коротко шли, пришли наконец к новому старухиному аилу. Прибежали звери, языком пшубу старухи вычистили, боками об аил потёрлись.

— Слушай, старик,— молвила старуха,— никогда в этой тайге не ставь на зверей капкана, стрелой в зверей не смей целиться, копы в руки не бери.

И стали жить в тайге. Старуха кандык собирала, диких коз, маралух доила, молоко квасила, пищу готовила.

Вот однажды, когда старуха взяла два ведра и пошла диких зверей доить, старик срезал ветку, завязал концы, получился у него лук. Выстрогал старик и стрелу. Взял этот лук со стрелой и пошёл дичи поискать, пострелять.

На вершине кедра сидел чёрный ворон, величиной с телёнка. Прицелился старик и метко, как молодой, стрелу пустил. Попала стрела ворону в грудь, но ворон так и остался сидеть невредим. Вынул клювом стрелу, переломил её, бросил, сказал «Карр-карр» и улетел. Отозвались ворону маралы и козлы, кабарга и дзерены, и побежали все звери.

Шла старуха с полными подойниками молока. Увидала убегающих зверей, закричала:

— Вернитесь, друзья, вернитесь!

Долго кричала, молоком вслед брызгала, плакала, а потом и подойники вдогонку швырнула. Но звери не вернулись. Упала старуха лицом вниз, заплакала, слезами своими землю оросила. Где старуха плакала — живой родник из земли пробился.

От молока, которое старуха плеснула зверям вслед, осталось у маралов, диких козлов и дзеренов вокруг хвоста белое пятно.

А старика ни люди, ни звери больше никогда не видели, о нём ничего мы не слышали.





СЕМЕРО БРАТЬЕВ*

В незапамятные времена, когда людей на Алтае ещё не было, пришли сюда семеро братьев. Были они, как семь медноствольных лиственниц, крепкие, как семь бурых медведей, сильные, как семь серых волков, дружные.

Коня на земле не нашлось, который мог бы поднять хоть одного из них. Кочевали братья пешие, опираясь на семь медных посохов. Когда братья по земле шагают, быстрокрылой птице их не догнать. Если они по горам идут, легконогой кабарге от них не убежать.

Косы шестерых старших братьев были сединой, как

инеем, подёрнуты, коса младшего черна, как крыло чёрного ворона.

Вот однажды, после удачной охоты, сидя ночью у зимнего костра, братья призадумались.

— Мы, шестеро, состарились одинокими. Но седьмой ещё молод. Однако на семи горах, на берегах семи рек, в семи лесах — нигде человека не видно. Где найдём жену младшему брату?

Младший на небо посмотрел и молвил:

— Там, в стойбище Улькёр-каана, живёт светлоликая Алтын-солонь, стройная, как игла. С ней хотел бы я зажечь один костёр, поставить один аил.

Эти слова ещё не вспорхнули с губ, глаза, обращённые к созвездию Улькер, ещё не мигнули, а братья уже на ноги вскочили, дичь, добытую на охоте, в сумины положили, посохи свои медные подхватили и зашагали вверх по скалам и горам.

Вот поднялись на белую мраморную гору, на синюю гору взопли, на ледяную вершину чёрной горы вскарабкались.

Облака далеко внизу остались, звёзды ходят совсем близко, старые — в золотых доспехах, молодые — в доспехах из бронзы. Не спеша, степенно звёзды движутся, подолами шуб медные посохи братьев задевая.

— Однако, — сказал младший, — мне, простому охотнику, разве отдаст Улькер-каан свою дочь Алтын-солонь?

— Да, — отозвался старший, — мы родом-племенем не можем похвалиться, имён дедов-прадедов назвать не сумеем. Зато мы прямые, как лиственницы, отважные, как медведи, дружные, как волки.

И, стукнув посохами, братья шагнули с вершины горы на дно неба.

Почувя людей, захрапели небесные кони, привязанные к золотой коновязи у входа в золотой шатёр Улькер-каана.

Услыхав братьев, свирепые псы, прикованные золотыми цепями к серебряным колодам, сели от страха на свои хвосты и заскулили тонкими голосами, как слепые щенята.

Братья прислонили к семи граням золотой коновязи семь медных посохов, сдёрнули шапки и вошли в золотой шатёр.

Гостей в шатре не сосчитать. Со всех семи небес, со всей земли собрались сюда на пир боги, чудища и герои.

Братья низко-вежливо пирующим поклонились.

Семиголовый Дьельбегён-людоед, увидав семерых братьев, семью глотками загрохотал, на семь разных голосов захохотал:

— А-а-а, ха-ха! А-а-а... Хорошее угощение сюда ко мне само на своих ногах пришло!

Кобён-очун-силач, едущий на сине-сером коне, увидав семерых братьев, железную трубку изо рта не вынул, на братьев сквозь дым посмотрел, на их поклон не ответил.

Сын небесного царя Тенерй-каана, Темйр-мйзе-богатырь, едущий на сером, как железо, коне, даже не обернулся. Кисточка на его лисьей шапке не шелохнулась, коса, перекинутая через левое ухо, не качнулась.

Сам хан Улькер-каан восседал на золотом троне с тремя ступенями. Глаза его — спокойные озёра, яос — ровная гора, усы закинута за плечи, борода до колен.

Низко-низко братья ему поклонились.

Улькер-каан правую бровь поднял, левый глаз прищурил:

— Вы, семеро, безлошадные, вы, семеро, бездомные! Мой шатёр земным духом не поганьте, овчинными тулупами моих гостей не смешите!

Семь дней, семь ночей стояли братья, дары свои предлагая.

Улькер-каан не хотел их слов слушать, на подарки не смотрел.

— Земные жители, обратно на землю идите!

Но братья стоят прямые и крепкие, как лиственницы, отважные, как бурые медведи, дружные, как серые волки.

— Работу осилим, какую пожелаете, службу сослужим, какую прикажете. Даров наших не отвергайте, просьбу нашу выслушайте. Мы сватать пришли дочь вашу Алтын-солоны.

Улькер-каан в ответ усмехается:

— Костёр, из двух смолистых ветвей сложенный, будет

жарко гореть, детям двух небесных ханов в одном шатре хорошо будет жить. Молодой Темир-мизе-богатырь и юная Алтын-солоны друг для друга предназначены, друг другу обещаю.

— Прикажете полдненное высокое солнце достать — доставим, повелите десятидневную луну к порогу прикатить — прикатим.

— Ну ладно, — вздохнул хан Улькер-каан, — одолейте чёрного марала, у которого на рогах семьдесят отростков. Своими рогами этот марал звёзды с неба снимает, себе под ноги швыряет и топчет передними копытами. Живёт тот марал у берега семи морей, у подножия семидесяти гор с семьюдесятью отростками. Кто маральи рога принесёт и поставит их перед моим шатром вместо коновязи, кто из шкуры марала аркыт — мешок для кислого молока сошьёт, тот и посватает Алтын-солоны.

Семиголовый Дьельбеген прежде всех с белой кошмы поднялся. Он выбежал из шатра, поймал своего синего быка, ухватился за кривые рога и вскочил в широкое седло, чеканенное серебром и бронзой.

Яростно крича, свирепо свистя, кулаками быка подбадривая, быстрее волшебной Кан-кередё-птицы мчался Дьельбеген к берегу семи морей, к подножию семидесяти гор с семьюдесятью отростками.

Сын небесного царя, Темир-мизе-богатырь, размахивая восьмивостой плетью, скакал быстрее ветра на своём сером, как железо, коне.

Кобон-очун-силач, своего сине-серого коня не щадя, летел как стрела, пущенная с тугой тетивы.

Семеро братьев, на семь медных посохов опираясь, позади всех пешком, не спеша идут. Семеро пеших братьев за семь шагов семь вёрст позади себя оставляют. За семь дней семеро братьев на семь переходов обогнали Дьельбегена.

Дьельбеген от злости совсем коричневый стал:

— У-у-у! Этих братьев догоню-у-у! Этих братьев проглочу-у-у!

И вот братья уже слышат тяжёлый бег быка, уже видят впереди себя на дороге тень бычьих рогов.

Старший брат вытянул шею, заглотил горное озеро и выплюнул его на дорогу.

Но уже слышен топот серого, как железо, коня, уже видна на дороге тень восьмихвостой плети Темир-мизе-богатыря.

Второй брат протянул руку к горному кряжу, выдернул лесистую гору и выставил её на дорогу.

Но уже слышен звон сбруи сине-серого коня, видна на дороге тень железной трубки Кобон-очун-силача.

Третий брат поднял тысячепудовый гранитный валун, сжал в кулаке и швырнул на дорогу острые осколки.

Братья первыми пришли к берегу семи морей. Четвёртый брат взбежал на семьдесят гор с семьюдесятью отрогами.

Спасаясь от крика, каким четвёртый брат кричал, убегая от топота, каким четвёртый топал, чёрный марал выскочил на самый высокий утёс семидесятого отрога. Голова его — выше туч, рога за звёзды цепляются.

Пятый брат сквозь тучи, сквозь облака увидал зелёные рога с семьюдесятью отростками. Снял он с плеча железный лук, тетиву резко натянул, даже лопатки за спиной стукнулись, от большого пальца правой руки дым пошёл. Быстрая стрела маралу сердце пронзила.

Много-долго не прошло, вернулись семеро братьев в стойбище Улькер-каана. Они поставили ветвистые маральи рога против серебряной двери золотого шатра. Аркыт — мешок для кислого молока, спитый из маральей шкуры, они положили к ногам хана. Расстелился аркыт, дно неба закрыл.

Улькер-каан, восседавший на золотом троне с тремя ступенями, на добычу даже не взглянул, в лицо братьям он не смотрит. Один глаз к луне скосил, другой к солнцу:

— Сам я охоты вашей не видал, песни о подвигах ваших не слышал. Подождём остальных охотников.

Прежде всех уехавший семиголовый Дьельбеген вернулся

через семь лет. Через десять лет спешился у шатра Темир-мизе-богатырь. Вместе с ним прискакал Кобон-очун-силач.

Улькер-каан вздохнул, голову опустил, глаза его туманом заволокло.

— Свою дочь, Алтын-солоны, тому отдам, кто самую красивую сказку споёт.

— Я, я спою-у-у! — заревел на семь голосов семиголовый Дьельбеген.

От его пения птицы слетели с насиженных гнёзд, звери убежали, детёнышей своих покинув, скот умчался с голубых небесных пастбищ.

— Однако вы очень плохо поёте, — сказал Улькер-каан, — замолчите, пожалуйста. Белого скота нашего не гоните, жителей наших не пугайте, стойбище наше не разорьте.

Дьельбеген от стыда синим стал, как его синий бык, быстро вскочил в высокое седло и умчался.

Теперь запел свою сказку молодой Темир-мизе-богатырь. Вместе с ним пел и Кобон-очун-силач.

От унылой этой песни, от тоскливых голосов птицы на лету уснули, звери на ходу спят.

— Ваша сказка совсем никудышная, — рассердился Улькер-каан, — сейчас же замолчите!

Кобон-очун и Темир-мизе друг на друга не смотрят, собираются, снаряжаются, по домам спешат.

Шестой брат взял в руки свой звучный топшуур, пальцами тронул струны, густую песню протяжно повёл.

Пугливые птицы к стойбищу прилетели, слушают. Дикие звери прибежали, вокруг стойбища стоят, слушают. Деревья, хвоей не шелестя, слушают. На сухостое почки живым соком налились, кожура треснула, молодые листья к певцу, как к солнцу, потянулись. Тёплый-тёплый дождь на стойбище пал, тёплый-тёплый ветер повеял, солнце повыше поднялось, и семицветная радуга на плечи певцу встала.

Слов нет рассказать, до чего красивая была эта песня.

На далёкие созвездия смотрел Улькер-каан, эту сказку слушаая.

Колени его ослабли, нижняя губа вытянулась, слёзы на бо-⁴роду падают. Четыре дня слушал, головы к подушке не при-
клоняя:

— Нет, этих семерых братьев я не могу победить.

И тут, в одежде, сотканной из лунного света, вышла сама Алтын-солоны, стройная, как игла.

Седьмой брат на правое колено пал, за правую руку Алтын-солоны взял:

— Мы двое один костёр на земле разожжём.

— Один патёр поставим,— отозвалась Алтын-солоны и вме-
сте с братьями стойбище отца своего покинула.

Улькер-каан нижнюю губу до крови прикусил, ногой топ-
нул, лодыжку свихнул.

Горькие слёзы Улькер-каана падают на землю густым
дождём.

— Этих семерых братьев я жестоко покараю.

А братья в просторном аиле пируют, песни поют, справляют
свадьбу младшего и Алтын-солоны.

Вдруг с неба посыпался огненный град, упало жаркое
звёздное пламя.

— Ой, братья мои,— вскричал младший,— на нас идёт не-
бесное воинство!

Старший брат поднял ледяную вершину горы Белухи, и
братья укрылись за ледяной стеной.

Огненный град пал на ледник и стучал не переставая,
белое звёздное пламя бушевало не умолкая, и бурные реки
талой воды побежали со стен ледяного аила.

— Алтын-солоны,— кричал Улькер-каан,— сейчас же до-
мой вернись!

— Отданная человеку, я с людьми не расстанусь,— отве-
чала Алтын-солоны.

Тут с неба звёзды, как мошкara, посыпались, земные уголья
поджигая.

Братья сурово наверх посмотрели:

— Не даёте нам на земле жить? Хорошо! Мы пойдём к вам на небо.

Алтын-солоны, светлая звёздочка, ни на шаг от своего мужа не отстала.

Поднялись на небо и встали развёрнутым строем: Семеро братьев¹ и рядом с седьмым — верная Алтын-солоны.

Открыто отнять свою дочь Улькер-каан не смеет, всё хочет он со своим воинством зайти с тыла. Но братья всегда насто-роже, всегда поворачиваются лицом к Улькеру.

Так вечными противниками стоят они на небе друг против друга.

¹ Семеро братьев — созвездие Большой Медведицы.





ЕР-БОКО-КААН И СИРОТА ЧИЧКАН*

Давным-давно на холмистом Алтае жил Ер-бóко-каан. Скота у него, как муравьёв в муравейнике: хоть три дня считай — не сосчитать. Добро его ни в какой шатёр не спрячешь: сундуки вокруг стойбища, словно горы, половину неба закрыли.

Сам Ер-боко-каан толстый был, как старый кедр, — в четырёх объёмах. Глаза его запухли, будто веки пчёлами ужалены, губы лоснились от жирной пищи. Бока его ночью на мягком мехе нежались. Днём Ер-боко-каан надевал шубу, крытую чёрным шёлком, на поясе нож в золотых ножнах, кисет,шитый синим бисером. Ноги обуты в красные кожаные сапоги, на голове высокая соболья шапка с серебряной кистью.

Когда Ер-боко-каан стоял, он одной рукой усы гладил, другой в бок упирался:

— Есть ли на земле каан сильнее меня?

— Видеть не видали, слышать не слышали,— отвечали все кругом.

Но вот однажды ехал мимо стойбища на маленьком кауром коне сухой, как осенний лист, старичок Танзагáн.

— Эй, древний старик! — крикнул ему Ер-боко-каан.— Кто на свете могучее меня?

— Видать не видал, а слышать слышал. У истока семи рек, на подоле семи гор есть глубокая, в семьдесят сажен, пещера. В той пещере живёт, спереди жёлтый, сзади чёрный, медведь. Вот кто силен, говорят, вот кто могуч!

Сказал так, прутиком своего каурого конька стегнул, и нет старика, будто его и не было.

Там, где стоял каурый конь,— трава примята, куда усакал — следа не видно.

— Э-э-эй! — закричал Ер-боко-каан.— Силачи мои, богатыри и герои! Изловите медведя, сюда приведите. Здесь, в моём белом шатре, на цепь его посажу. Захочу — вокруг костра бегать заставлю, захочу — на костре изжарю. Без медведя домой не возвращайтесь: вас казнию и детей ваших не помилую.

Вздрогнули могучие воины, их бронзовые доспехи зазвенели. Не смея спиной к каану повернуться, пятясь вышли они из белого шатра.

Ходили по долинам, по горам — нигде истока семи рек не нашли, семи гор, из одного подола поднявшихся, не видели, глубокой, в семьдесят сажен, пещеры не отыскивали. Воду рек и озёр взбаламутили, лес подожгли, но медведя, спереди жёлтого, сзади чёрного, не встретили.

Повернули коней, едут обратно. Ещё издали стойбище увидав, спешились, коней в поводу повели, сами пешком пошли.

Белый ханский шатёр увидали — на колени опустились, ползком поползли.

Впереди них малые ребята без шапок, милости у каана просить они не смеют. Позади — старики в длинных пубах, умолять они не отваживаются. Возле белого шатра все, как один, лицом на землю пали.

В гневe Ер-боко-каан как гром загремел, как железо за-сверкал. Распахнул золотую дверь, через серебряный порог шагнул и вдруг споткнулся. Это ему под ноги кинулся пастушок-сирота, по прозванию Чичкán-мышпонок:

— Великий каан, богатырей своих пожалейте, детей малых простите, стариков уважьте.

Две любимые жены подхватили каана под обе руки, два свирепых палача схватили Чичкана за обе ноги.

— В кипящий котёл его бросьте,— кричит каан,— кровь выцедите, мясо искрошите, кости истолките! Если ты, Чичкан-мышпонок, жить хочешь, медведя сюда приведи!

И пошёл сирота Чичкан, сам не знает куда. Обратнo вернуть-ся не смеет, в сторону с прямой тропы ступить не решается. Позади бурлят взбаламученные реки, впереди подожжённый лес горит.

Рыбы из воды на берег прыгают, лягушки с берега в воду скачут, птицы из горящего леса вылетают, звери убегают, змеи уползают, только один маленький медвежонок на дереве сидит, плачет. Наверху ему страшно, а спрыгнуть ещё страшней.

Чичкан влез на дерево, снял медвежонка, вынес его из огня и отпустил, а сам дальше пошёл.

Идёт, дня не видя, ночи не замечая. Так шёл он, пока от голода и жажды не свалился.

Упал и видит — нависла над ним скала, на скале, как две слезы, две росинки висят. Открыл рот Чичкан, росинки упали ему на язык. Едва проглотил, как сразу понял, о чём между собой два ворона говорят.

— Карр, что ты тут делаешь, брат мой?

— Кар-кар, человека сторожу, смерти его жду, будет мне пожива.

— Кра-а, кра-а... А я на болото полечу, там жеребёнок увяз, каррр!

Один ворон на болото полетел, другой на скале остался.

«Надо этого жеребёнка из беды выручить,— подумал Чичкан.— Но как дорогу на болото найти?»

Вдруг, откуда ни возьмись, коростель. Он бежал и кричал:

— Таарт, тарт, дёргай, дёргай! Жеребёнок в болоте увяз. Бапинан тарт, чадынан таарт! За голову дёргай, дёргай за косички.

Встал Чичкан и пошёл, куда коростель повёл.

Ворон тоже поднялся со скалы и, хлопая крыльями, закаркал:

— Человек умереть не захотел, остался я без пищи.

— Каарр,— отозвался издали второй ворон,— поспеши мой брат на болото. Жеребёнок увяз по самые глаза.

А коростель бегаёт вокруг жеребёнка и «тарт-таарт» — «дёргай-дёргай» — кричит, охрип даже.

Ухватил Чичкан жеребёнка за гриву, заплетённую в косички, и вытащил его!

— Кра-а... — заплакали оба ворона,— этот конь теперь долго будет жить, Чичкану служить. Кра-а!..

И, хлопая крыльями, оба ворона улетели.

Погладил Чичкан холодную шею жеребёнка своей тёплой рукой и молвил:

— Куда хочешь беги, Гнедой!

— Твой путь, Чичкан, отныне моим будет.

— Я иду к истоку семи рек, к подолу семи гор, к пещере глубиной в семьдесят сажень. Конца пути не вижу.

— Если пошёл — надо идти, если идёшь — надо дойти, а упадёшь на пути, так головой вперёд.

Долго ли, коротко шли — никому не ведомо. Но вот однажды увидели они семь снежных вершин. Как семь великанов в белых заячьих папках, на одном лесистом подоле стоят. Из-под снега вода бежит, на семь тонких, как шёлковые нити, ручьёв разделяется.

Гнедой заржал. И вот из пещеры глубиной в семьдесят сажен вышли мохнатые, как семьдесят туч, семьдесят медведей. У каждого в лапах берестяной поднос с едой, на голове кожаный ташаур с питьём.

Впереди медленно выступал огромный зверь. Лапы его — как толстые колоды, голова — как обгорелый пенёк. На могучую спину десять медведей могли бы лечь. Шерсть у великана спереди светлая, как день, сзади чёрная, как ночь. Все медведи на задних лапах ступали, этот шагал на четырёх. Ближко-близко он к Чичкану подошёл, низко-низко свою голову склонил:

— Ты для меня, сирота Чичкан, — утреннее солнце, вечерняя луна. Ты моего сына из огня спас. Ешь и пей, что хочешь, проси и требуй, чего пожелаешь, подарок выбирай, какой нравится.

— Угощенья вашего отведать не смею, подарка принять не могу. Ер-боко-каан меня за вами послал. Он вас на цепь посадит, вокруг костра бегать заставит, на огне изжарит, — ответил мальчик.

У медведей на густых ресницах слёзы повисли. Побросали они свои подносы с едой, ташауры с питьём и заревели:

— Р-р-разорвём Ер-боко-каана!

Большой медведь поднял правую переднюю лапу — все медведи разом смолкли.

— Я пойду в шатёр Ер-боко-каана, — сказал великан.

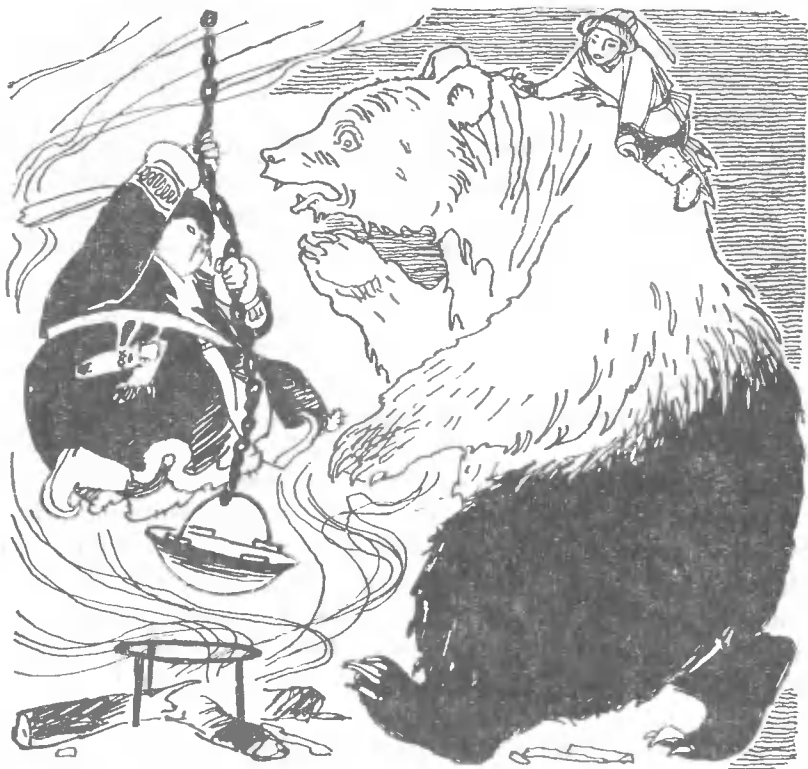
Спорить с большим медведем звери не посмели. Осушили они с горя все ташауры, съели всё угощение и, утирая лапами слёзы, пошли в свою глубокую пещеру.

— Садись ко мне на спину! — приказал большой медведь Чичкану.

Мальчик вскарабкался по лапе медведя, как по толстому стволу дерева, на спину его лёг, как на широкую кошку.

Быстрее воды побежал медведь, легче ветра помчался жеребёнок. Так и ворвались на стоябище Ер-боко-каана.

— Ма-аш! — рывкнул медведь.



Скот в горы убежал, пастухи попрятались в айлы, ремёнными арканами прикрутили двери к железным скобам. Притаились, дышать не смеют. Свирепые псы, дрожа и скуля, в кусты уползли.

А медведь уже к белому шатру бежит:

— Ма! Мааш!

Волосы поднялись на голове Ер-боко-кана, папка на пол упала, сердце чуть не треснуло, печень чуть не лопнула.

— Ммааш! Ммааш!

Ер-боко-каан кинулся под топчан, его верные жёны влезли в сундуки, крышками прикрылись.

А медведь уже здесь, в шатре. Посреди шатра жарко трещал большой костёр, над костром на железной цепи висел бронзовый котёл.

Когда медведь к топчану кинулся, каан выскочил из-под топчана, к костру побежал. Медведь — за ним. Семь раз вокруг костра каан обежал, медведь всё ближе, ближе...

Тут Ер-боко-каан подпрыгнул, за железную цепь ухватился, сам себя на цепь верхом посадил, над кипящим котлом повис и заплакал:

— О-о, Чичкан, смерть ли моя пришла, добро ли меня ждёт? Спаси меня, сынок, уведи ты этого, спереди жёлтого, сзади чёрного, зверя...

Спрыгнул сирота Чичкан с медвежьей спины, медведю поклонился.

— Будь счастлив, мальчик, — сказал медведь и ушёл.

Отпустил Ер-боко-каан цепь, на землю упал, вскочил, шапку надел, усы рукой погладил, другой рукой в бок упёрся и на Чичкана смотрит. Смотрел, смотрел каан, глаза у него выпучились, усы поднялись, как у тигра. «Под худым седлом ходит добрый конь, в худой шубе растёт богатырь непобедимый», — подумал каан. Рука к золотым ножнам потянулась, глаза кровью налились:

— Мне, великому Ер-боко-каану, и тебе, ничтожному Чичкану, из одной чаши вина не пить, в одном стойбище не жить. Уходи туда, куда на соловом коне не скакал я никогда!

Земли под собой не чуя, выскочил из белого шатра Чичкан. Не оглядываясь, побежал он к своему маленькому, круглому, как сердцу, шалашу.

Гнедой, часто-часто перебирая ногами, постукивая копытцами, ни на шаг от мальчика не отстал, ни на шаг вперёд не забежал.

В шалаше, у потухшего костра, лежала мёртвая овца.

Громко заплакал Чичкан:

— Ярko горевший костёр угас, одна только овца была у меня, да и той уже нет...

Но тут он вдруг услышал тонкий жалобный голос, поднял голову и увидел ягнёнка. Крепко поцеловал его Чичкан, осторожно накинул ему на шею мягкий волосяной аркан. Жеребёнку Чичкан надел ремённую узду, в последний раз посмотрел на свой круглый, как сердце, шалап и пошёл искать себе место для стойбища.

Идут все трое — мальчик, ягнёнок и жеребёнок, — дня не видя, ночи не замечая. Вдруг навстречу им сухой, как осенний лист, старичок Танзаган на маленьком кауром коне:

— Куда путь держишь, Чичкан-богатырь?

— Иду туда, где Ер-боко-каан не бывал никогда.

— Видать не видал, а слышать о такой земле слышал. Говорят, там овпы пасутся без хозяина, коровы ходят без пастуха, кони резвятся, не зная узды. Там белый шатёр поставлен тому, кто ни зверю, ни человеку никогда не солгал, кто много работал, да мало спал. Иди, Чичкан, куда ягнёнок пойдёт, остановись там, где ягнёнок встанет.

Сказал — и нет его. Где стоял каурый конь — трава примята, куда ускакал — следа не видно.

И опять все трое шли, ни днём, ни ночью не отдыхая. На восьмую ночь ягнёнок встал — не сдвинешь его, будто он в землю врос.

У ног Чичкана тихо-ласково ручей с травой разговор ведёт, над головой звёздные костры жарко горят. Мальчик воды из ручья зачерпнул, сам напился, жеребёнка и ягнёнка напоил, под открытым небом спать лёг.

Утром проснулся — сам себя не узнал. Вместо тулупа с девяностю девятью заплатами на нём шуба, крытая красным пёльком, ноги обуты в красные кожаные сапоги, под головой чёрный бобровый мех, на постели постланы серые волчьи шкуры, одеяло из красных лисьих шкур. Белая, как сахар, кошма натянута на твёрдые, будто из меди отлитые, лиственничные жерди. Тронешь их — они звенят, толкнёшь — не шелохнувшись стоят.

Вышел Чичкан из белого шатра, увидел против двери золо-

тую коновязь. У коновязи — Гнедой. Сбруя на нём шита жемчугом, седло бронзовыми бляшками украшено.

Чичкан кругом посмотрел — долина будто снегом заметена: белых овец не сосчитать, а впереди ягнёнок с волосатым арканом. На холмах красные стада, на горах несметные табуны.

Выпрямился Чичкан, голову выше поднял, по-богатырски закричал, по-орлиному заклекотал. Приложил к губам маленький железный комыс, густую песню через все долины повёл. Двухструнный топпуур взял — лёгкая песня по холмам разлилась.

Эту светлую песню услышали пастухи Ер-бока-каана, на чистый голос прискакали. Увидали они неисчислимые стада, белый патёр, Гнедого в затканной жемчугом сбруе. Повернули пастухи коней, помчались обратно к своему стойбищу.

Ер-боко-каан, о Чичкане услышав, как река забурлил, как лёд затрещал. На золотом ложе ему не ложится — постель будто раскалённый камень. Ни пить, ни есть не может, будто кость застряла в горле.

Вскочил на своего солового коня, как буря помчался, как вихрь на вершину горы взлетел, стойбище Чичкана увидел и горько-ядовито закричал:

— У коровы длинный хвост, только шерсть на нём короткая! Мышонок Чичкан раскинул патёр, да не жить ему здесь! Завтра на восходе солнца мой отцовский лук покажет свою мощь, мои могучие руки силу свою испытают. Выходи, Чичкан, на смертный бой! Твой патёр сожгу, твой скот заколю, в котлах сварю, своих воинов потешу. Мне, великому каану, и тебе, жалкому Чичкану, на одной земле не жить!

Сказал, дёрнул повод коня и, не дожидаясь ответа, ускакал. Заблеяли овцы, замычали коровы, лошади заржали:

— Нет у нас ни когтей, ни клыков, помоги нам, Чичкан-богатырь!

Горько-жалобно заплакал сирота Чичкан. Он лука и стрел в руках никогда не держал, воевать нигде не учился.

— Из овечьей шерсти кошма моего белого шатра сваяйна, из коровьего молока мой чегень закващен, мой курут отжат, из конского волоса мои арканы сплетены... Защитить вас, друзья мои, я не умею... Оглянусь назад — кроме тени, нет ничего, руки подниму — только за уши ухватиться можно. Нет у меня отца — он помог бы, нету матери — она пожалела бы. Птенцу, выпавшему из гнезда, не спастись от ястреба. Сироте беззащитному войско Ер-боко-каана не одолеть... Бегите отсюда, белые отары, красные стада, быстрые табуны. Я один Ер-боко-каана встречу, я один буду с Ер-боко-кааном биться, пока хватит сил.

Ещё не умолк этот жалобный плач, как послышался голос медведя-великана:

— Возьми, Чичкан, свой синий топор, свой стальной нож. Нарезь крепкие прямые ветки, согни из них тугие луки, стяни их звенящей, упругой тетивой. Из орешника настрой тонкие стрелы, стволы пихт на копыя раздели.

Согнул Чичкан луки величиной с сонку, сделал и с ладонь величиной. Были у Чичкана пики, как столбы, были копыя всего с большой палец. Резал, гнул, рубил, строгал весь день. Всю ночь при свете костра работал.

И только когда посветлели горы на западе, опустил Чичкан свой синий топор. Но вот заалело небо и на востоке.

Вместе с алой зарёй пришёл в стойбище Чичкана медведь-великан. За большим медведем шли сурки в жёлтых дохах, за сурками медленно, вперевалку, двигались серые барсуки, за барсуками, подталкивая их, спешили росوماхи с круглыми щитами на чёрной спине, за росوماхами шагали медведи в бурых тулупах.

Малые пики и луки пришлись впору суркам, оружие потяжелее взяли барсуки и росوماхи.

Самые тяжёлые, толстые, как брёвна, копыя легко, играючи, медведи подняли.

Как огненный бубен, выкатилось на небо утреннее солнце. Вместе с солнцем двинулся к стойбищу Чичкана Ер-боко-каан

со своим непобедимым войском. Звения бронзовыми доспехами, вызывали воины Чичкана-сироту на смертный бой.

— Ложись! — приказал зверям большой медведь.

Впереди всех залегли сурки и барсуки. За сурками притаились в густой траве росوماхи. Позади росомах, в тени деревьев, заняли места медведи.

С одного края этого войска чёрно-жёлтый большой медведь встал, с другого — Чичкан на Гнедом.

В небе солнце поднялось, в долину воины Ер-боко-каана спустились.

Большой медведь дал им близко-близко подойти да вдруг как рявкнет:

— Ма-аш!

Все звери, как один, вскочили, Ер-боко-каан едва успел коня осадить.

Стрелы, как молнии, воинов разят, пики без промаха колют. Глаза зверей синим пламенем полыхают, дыхание их расстилается, как густой туман.

— Э, ма-аш кондутеёр! Вперёд, вперёд! — приказал медведь-великан.

Сурки свистнули, барсуки хрюкнули, росوماхи зарычали, медведи заревели и двинулись на ханское войско.

— Ойтó-кайраа! Назад, назад! — взвизгнул Ер-боко-каан.

Но звери его приказа не послушались, только ещё свирепее зубами лязгнули.

Ер-боко-каан дёрнул повод коня, зверям спину показал, за ним побежали непобедимые воины.

Реки выходили из берегов, когда ханское войско бродом шло; камни дымились и рассыпались золой, когда по суше бежало.

Свой белый шатёр, сундуки с добром Ер-боко-каан пятками в пыль истолок. Так убегало могучее войско от сурков и барсуков, от росомах и медведей.

Ни моря, ни скалы остановить этих воинов не могли.

К какому краю земли прибежал Ер-боко-каан, где он свою

смерть нашёл, только два чёрных ворона могли бы сказать, да мы языка их не понимаем, двух светлых росинок нам испить не довелось. И теперь даже имя Ер-боко-каана позабыто.

Однако хорошо помнят на Алтае, что помог сироте Чичкану спереди жёлтый, как день, сзади чёрный, как ночь, великан медведь.

С той поры и до наших светлых дней, память о нём уважая, старики сказители медведя дядей зовут.

Добрым словом поминают сухого, как осенний лист, старика Танзагана, отцом алтайцев его называют.





АЛЫШ-МАНАШ И КЮМЮЖЕК-ААРУ*

1

Когда небо было сотворено, когда земля была сотворена, вместе с небом и землёй был сотворён Байбарак-богатырь, едущий на пятнистом, как барс, коне.

Когда луна была сотворена, когда звёзды засияли, вместе со звёздами и луной родилась прекрасная Эрмэн-чечэн.

Она быстрее травы, как камыш, росла, диких коней сама заарканивала, сама умирала — объезжала. Равного ей силача на Алтае не было, равного ей смельчака на земле не нашлось.

Поперёк её тропы лишь Байбарак-богатырь отважился встать. Как медведь, Байбарак-богатырь грозно глянул — ни объехать его, ни с пути согнать.

Левой рукой он девицу Эрмен-чечен из седла выдернул, на землю опустил, сам на правое колено пал, правой рукой руку Эрмен-чечен крепко сжал.

— Отныне мы вовек неразлучны, — сказал.

— Всегда вместе будем, — молвила Эрмен-чечен и следом за Байбараком-богатырём из родного стойбища усакала.

Весёлой переступью идёт под Эрмен-чечен неутомимый иноходец. Широко шагает пятнистый, как барс, конь, неся могучего Байбарака-богатыря.

А следом скачет разгневанный Сюмелу-пай — отец. Крепко-злбно хлещет он восьмихвостой плетью крылатого коня. Воронокрылый конь, как буран, летит, как выюга, спешит. Но прекрасную дочь свою Эрмен-чечен Сюмелу-пай догнать не успел.

2

Куда ворон не залетает — на краю голубой долины, куда со-роке не долететь — на краю жёлтой долины, у подножья ледяной горы, в долине, закрытой от всех четырёх ветров, раскинулось стойбище Байбарака-богатыря. Здесь, в высоком аиле, родился у прекрасной Эрмен-чечен сын Алып-манаш.

Родившись, Алып-манаш сразу на ноги встал, волосяной аркан в руки взял, бело-серого коня, узды не знавшего, заарканил, заседлал, в седло вскочил, тугой лук на плечо повесил и по-скакал на охоту.

Первой стрелой белку достал, второй — росомаху уложил, третьей стрелой Алып-манаш-дитя сразил могучего барса, хозина гор.

Байбарак-отец снял с пояса широкий нож, наточил лезвие о скалу и надрезал шкуру. Шестеро силачей тут же подцепили и содрали её так чисто, что даже сорока не нашла бы на коже клочка мяса.

Эрмен-чечен-мать своими белыми руками кожу размяла, размягчила, и сделалась барсова шкура блестящей, как шёлк, лёгкой, как облако.

Эту шкуру золотистую, пятнистую, мягкую, лёгкую Байбарак-богатырь на плечо положил, тестю в подарок принёс, с поклоном расстелил её на земле у ног старика Сюмелу-пая.

— Этого зверя ваш внук Алып-манаш добыл, эту шкуру пятнистую, золотистую, лёгкую, как облако, блестящую, как шёлк, ваша дочь Эрмен-чечен своими белыми руками размяла.

Но Сюмелу-пай подарка принять не пожелал, простить Байбарака-богатыря не захотел.

— Год назад ты мою дочь, Эрмен-чечен, украл, год от меня ты её скрывал. За это на год пусть уснёт непробудным сном твой сын Алып-манаш. Пусть уснёт, как встретит по сердцу девицу, пусть уснёт, как придёт ему пора жениться.

3

Алып-манаш деда своего не видал, угрозы его не слышал, забот не зная, он, на радость родителям, рос, мужал.

В быстроте бега равных ему на Алтае не было. В борьбе он мог с великими силачами состязаться. В смелости Алып-манаш сыну небесного царя Темир-мизе-богатырю не уступал. Стопудовый лук Алып-манаша только его друг Ак-кобён-богатырь мог поднять, но тетиву натянуть и ему не под силу.

Пируя с богатырями, силачами и героями, Алып-манаш однажды песню услышал про могучего Ак-каана. Семьдесят народов Ак-каан поработил, семьдесят семь богатырей убил.

В белом аиле живёт дочь Ак-каана, красавица Эркэ-каракчй, ездящая на огненно-рыжем коне.

— Кто верхом мимо стойбища Ак-каана скачет, слезает с коня, чтобы на Эрке-каракчи-разбойницу посмотреть. Кто пешком идёт — колени преклоняет, взглянув на красавицу Эрке-каракчи, — пели песельники, волосяные струны топшуура перебирая. — Шестьдесят силачей на стойбище ездили свататься, семьдесят богатырей жениться на Эрке-каракчи хотели. Много женихов к ней стремилось, обратно ни один не вернулся. Бесчисленные следы на стойбище ведут, обратного следа ни единого

нет. Из богатырских костей горы вокруг стойбища возвышаются, кровью реки полнятся...

Слушая песню, Алып-манаш берестяной поднос с едой отодвинул, есть не захотел. Золотую чойчайку с питьём оттолкнул, пить не захотел.

— Пока Ак-каана не одолею, пировать не буду. Если красавицу Эрке-каракчи не полоню, на мягком ложе спать не буду.

Байбарак-отец и Эрмен-чечен-мать на пирах не пировали, на игры молодецкие не глядели, песен протяжных не слушали. Они искали для Алып-манаша добрую жену, чтобы верным другом ему была. Когда он будет год целый спать, недвижимо лежать, чтобы спящего не покинула.

4

Росла вместе с Алып-манашем сестрёнка милая Эрké-коб. Была у неё любимая подруга Чистая жемчужина — Кюмюжék-аару, дочь Кыргыз-каана-непобедимого.

И сосватали родители Алып-манашу эту девицу Чистую жемчужину. Однако Алып-манаш костёр с ней вместе разжечь не захотел, в аил к ней не вошёл. Он коня седлает, снаряжается, в дальний путь собирается.

— Чем не хороша тебе Чистая жемчужина? — спрашивает Байбарак-богатырь-отец.

— Чем не угодила тебе Кюмюжек-аару? — спрашивает Эрмен-чечен-мать.

Молча плачет сестра милая Эрке-коо, жалеет она Чистую жемчужину — Кюмюжек-аару.

— Добрые родители, милая сестра, — сказал Алып-манаш, — на дороге моей не стойте, за подол шубы меня не держите. Коню, привязанному к коновязи, прыти своей не показывать. Богатырю в своём аиле удалю не прославиться. Медная стрела в колчане зелёной плесенью покрывается, меч, отдыхающий в ножнах, бурая ржавчина ест. Богатырь, у домашнего очага тёплой аракой

кровь свою греющий, силы лишается, славу теряет. Пока Ак-каана не одолею, в белый аил к жене не войду, если Эрке-каракчи не полоню, домой не ворочусь.

Потом Алып-манаш светлое лицо к Чистой жемчужине обратился и молвил:

— С тобой вместе мы дня не прожили, но считай, будто женаты. Старую тебя заботой своей не оставляю, плохо о тебе никогда не подумаю. Хочешь — жди меня, не захочешь — твоя воля. Укорять не стану, неволить тебя не смею.

Подожёл Алып-манаш к бело-серому коню, в седло вскочил, не оглянувшись, ускорился.

5

Поехал Алып-манаш искать стойбище Ак-каана, поскакал в тот край, где живёт красавица Эрке-каракчи.

Алып-манаш днём не отдыхал, ночью не спал. Сколько рек бродом перешёл — не сосчитать, сколько горных перевалов позади оставил — не упомянуть.

Алып-манаш летом в зной прохладной тени не искал, зимней стужей костра не разводил.

Кружась, как веретёна, мелькали месяцы; годы, как змеи, ползли.

Алып-манашу солнце летом плечи жгло, зимой снег падал на воротник.

По долинам мчась, по горам карабкаясь, через пропасти перескакивая, бело-серый конь вытягивался, как сыромятный ремень, сжимался, как тугая мышца.

Вот впереди закипела, зашумела бурная река. Как белое пламя, она размывала синий песок, лизала серые камни, огненными брызгами разбивалась на крутых порогах. От шума быстрой воды дрожали кедры в горах, содрогались берёзы в долинах. Ни вверху реки, ни внизу тихого брода не видно.

Алып-манаш вверх и вниз скакал по берегу, пока не увидел берестяную лодку шириной в две сажени, длиной в девяносто

саженной. Алып-манап спешился, перевернул лодку. Под лодкой спал белый, как лебедь, старик.

Алып-манап окликнул его:

— Дедушка, переправьте меня!

Старик глаза открыл, на Алып-манапа взглянул:

— Э-е, балам — дитя моё, красивые глаза, умную голову, Чистую жемчужину ты дома оставил! Чего тебе не хватало? Что поехал искать?

Алып-манап старику поклонился, рукой земли коснулся:

— Медная стрела, в колчане оставленная, зелёной плесенью покрывается. Булатный меч, в ножнах отдыхающий, бурая ржавчина ест. Богатырь возле домашнего очага силы лишается, славу теряет.

Старик в ответ слов не нашёл. Молча взял багор, толкнул лодку в воду.

Алып-манап, повода из рук не выпуская, прыгнул на корму.

Конь удила грызёт, плыть не хочет, но крепко держит повод Алып-манап.

Когда на середину реки выехали, старик обернулся, и горячая слеза стариковская упала Алып-манапу на ладонь.

— О чём плачете, дедушка?

— Мне тебя, балам-дитя, жаль. Скольких богатырей я на тот берег переправил, обратно ни один не пришёл.

— С небесными силами, с подземными властителями готов я сразиться, лишь бы наказать Ак-каана-злодея, который семьдесят народов поработил, семьдесят семь богатырей убил. Буду со змеями, с драконами, с чудищами земными и подземными биться, пока не полоню разбойницу Эрке-каракчи.

Алып-манап вынул из колчана девятигранную стрелу. Солнце в гранях стрелы девять раз отразилось. От блеска стрелы старик глаза ладонью защитил.

— Жив я или мёртв, по этой стреле, дедушка, вы узнаете.

Старик спрятал стрелу в свою суму.

Алып-манап из лодки на берег прыгнул, улыбнулся. Бело-серый конь из воды вышел, встряхнулся.

Алып-манаш покрыл коня потником-кечймом, на кечим положил седло, затянул подпругу потуже, прыгнул в седло и закричал, как сто богатырей кричат.

Конь топнул — будто сто громов гремят.

Слеза, повисшая на реснице старика перевозчика, не успела на щеку упасть — Алып-манапа уже не видно.

6

Бело-серый конь ретиво-бодро по долине бежал, чёрные озёра заполняли след его копыт. Низкие холмы мягко копытами отбрасывал конь. Высоким горам на грудь наступая, неутомимо бежал. Он через овраги легко перепрыгивал, через пропасти смело скакал. Едва Алып-манаш восход солнца увидит, конь уже к закату домчит его.

И вот тёмной ночью увидел Алып-манаш огонь больших костров. Жёлтое пламя лизало снеговые вершины, искры взлетали к небу и там вспыхивали и гасли среди звёзд.

Почувяв запах дыма, конь на четыре ноги встал, с места не идёт.

— Эй-ей! — сердито крикнул Алып-манаш.

— Алып-манаш, поверни повод в обратную сторону, — чело-вечьим голосом сказал конь, — много к стойбищу следов идёт, обратного следа не вижу.

— Ты снаружи подстилка, внутри потроха! Умереть ли мне суждено, жив ли останусь, совета у тебя не спрошу.

Конь стоит, будто в землю вросли копыта.

В гневе Алып-манаш был свиреп. Он поводом рот коня до ушей разорвал, он плетью круп коня до кости рассек.

Как орёл взвился бело-серый конь. Он в гору, под гору, как весенний ветер, летел, по долине, как вода, бежал. От слёз бело-серый конь дороги не видел, от обиды мелкой дрожью дрожал.

Тёмной ночью услышала красавица Эрке-каракчи топот копыт. Ему вторило эхо в горах, отзывался ему гром в небесах.

— Это бежит бело-серый, бело-серый, бело-серый конь! — загоготали дикие гуси.

С ложа своего Эрке-каракчи вскочила, меч свой она всю ночь о звёзды калила, на ледниках студила, об луну точила. Утром Эрке-каракчи на огненно-рыжего коня села и помчалась навстречу Алып-манашу. Белым пламенем сверкал в её руке острый меч, ярче утреннего солнца долину и горы освещая. Красным заревом полыхала грива огненно-рыжего коня, будто огнём охваченный, сверкал длинный хвост.

Алып-манаш взглянул на Эрке-каракчи. Она на него в ответ глянула, глаз не опутив, мечом заиграла.

К бело-серому коню близко-близко огненно-рыжий конь под скакал, яростно-грозно заржал, передние копыта подняв. Бело-серый конь тоже на дыбы встал.

Алып-манаш обеими руками обхватил разбойницу Эрке-каракчи. Началась великая борьба. Сначала бились верхом на конях, потом спешились. Месяц в битве протёк, как один день, год промчался, как один месяц.

Четыре раза Эрке-каракчи и Алып-манаш весь наш мир обегали. По щиколотку уходили ноги в землю, когда на твёрдом камне боролись, по колено увязали в рыхлой почве. Ни один не упал, ни один не коснулся рукой земли. От топота их ног, от крика богатырского колыхались долины; холмы скакали, как олени, горы прыгали, будто сарлыки. Озёра из берегов выходили, реки бросались с камня на камень, разбивая скалы.

Но вот тронула Эрке-каракчи землю левой рукой, левым коленом земли коснулась. За правую руку Алып-манаш её взял, в золотые глаза её посмотрел.

— Вместе костёр зажжём! — сказал.

Чуть слышно отозвалась побеждённая Эрке-каракчи, лучистые глаза свои ресницами прикрыв:



— В одном котле пищу варить будем, из одной чаши есть и пить станем.

— Будем вовек неразлучны,— в один голос сказали.

И тут проклятье деда сбылось.

Себя не помня Алып-манаш руку нежной Эрке-каракчи уронил, себя не помня к коню подошёл, расседлал его, седло на землю бросил, потник-кечим швырнул, сам на потник упав, голову на седло опустил и заснул непробудным сном.

Бело-серый конь обернулся белой звездой и поднялся на небо.

Эрке-каракчи в седло вскочила, коня огненно-рыжего хлестнула. На стойбище Эрке-каракчи вернулась, в кошемном аиле затворилась, любимую рабыню ударила, чашу с золотой каймой в костёр кинула, свою одежду кожаную, шелкамишитую, собольим мехом подбитую, разорвала, растоптала.

Пастухи Ак-каана погнали бесчисленные табуны на горные пастбища. С высокой горы увидали пастухи две сопки, дотоле невиданные. Посреди сопок круглый холм, от холма вихрь-буря идёт, столетние деревья вверх корнями поднимает, гонит реки вспять.

Позабыли пастухи о бесчисленных табунах, обратно повернули. Вот прискакали на стойбище, в ноги Ак-каану упали.

— Посреди долины,— говорят,— две сопки выросли, посреди сопок,— говорят,— круглый холм стоит. От холма,— говорят,— вихрь-буря идёт, гонит реки вспять, деревья вверх корнями поднимает.

— Лжёте вы, лентяи, бездельники! — И одним взмахом меча Ак-каан три головы отсек.

Даже семиголовый людоед Дьельбеген над четвёртым пастухом сжалился.

— Позвольте,— говорит,— великий Ак-каан, я туда поеду на своём могучем Туу-зэи — синем быке. Посмотрим, правду ли пастухи говорят.

Поднятого меча Ак-каан не удержал, меч сам собою на шею четвёртому пастуху упал.

Тёмно-жёлтый Дьельбеген своего синего быка заседлал, в широкое седло сел, быка к долине погнал.

Когда через гору перевалили, синий бык Туу-зэи заупрявился, грудь его мохнатой пеной покрылась. Он мотнул головой и, узды не слушая, повернул обратно к стойбищу.

Тут вдруг вихрь-ветер налетел, быка подхватил-завертел и поволок хвостом вперёд, вместе со всадником, в тёмную пещеру.

У семиголового Дьельбегена все четырнадцать глаз на лоб чуть не вылезли, уши чуть не лошнули. Опомниться Дьельбеген не успел, как его, вместе с синим быком, из пещеры выдуло, на вершину горы понесло.

Упав на гору, синий бык едва встал. Земли под собой не чуя,

как слепой, опять вверх побежал. Лишь на самом высоком леднике передохнул бык.

Только на этой ледяной высоте очутившись, осмелился грозный, свирепый Дьельбеген оглянуться, лишь с этой недоступной высоты отважился вниз посмотреть.

Там, внизу, покрыв белым потником-кечимом зелёную долину, крепко спал Алып-манап. Голова его между двух деревянных лук богатырского седла, как круглый холм между двух остроконечных сопок, покоилась. Вздохнёт Алып-манап — деревья и горы, как бурей подхваченные, влекутся в его ноздри, выдохнет — деревья и горы, как вихрем выгнанные, из ноздрей вылетают. Алып-манап спокойно, ровно дышал, и вместе с его дыханием мерно опускались и подымались воды рек и озёр.

Богатырей, подобного Алып-манашу, Дьельбеген ещё не видел, о таком силаче-алыше он не слыхивал.

Тёмно-жёлтый Дьельбеген, чуть жив от страха, в стойбище Ак-каана вернулся, у белого войлочного аила спешился, до земли могучему Ак-каану поклонился, на колени пал:

— Человек, сказать,— нет, не человек это; гора, сказать,— нет, не гора это. Чудовище страшное, ни на что не похожее, в долине спит.

9

Звонко-пронзительно свистнул Ак-каан. Созвал он дальних и ближних силачей-алыпов и богатырей-героев. Всё бесчисленное войско, одетое в звенящие доспехи, верхом на могучих конях двинулось со стойбища в долину. Будто спустившиеся на землю тучи, мчались кони, будто солнечные лучи, сверкали остроконечные пики. Впереди всех, свирепо крича, скакал на своём белочалом коне сам хан Ак-каан. Рядом с ним мчалась, положив поперёк седла остро отточенный меч, красавица Эрке-каракчи.

С вершины чёрной горы хорошо виден Алып-манап. Он спит, раскинув руки, как дитя. Шуба его распахнулась, всем четырёх ветрам открыта широкая грудь.

Дыхания его уже почти не слышно, жизни на лице его не видно.

Прославленные лучники своих коней осадили, медноконечные стрелы на упругие луки они положили. Соцзурились, хорошо прицелились, все вместе, как один, стрелы разом пустили. Меткие стрелы ударили Алып-манаша под левый сосок, но будто о застывшую лаву стукнулись, соскочили. Медные наконечники погнулись, крылатые концы стрел задымились.

Копьеносцы швырнули с разбегу тяжёлые копья. Ударившись о грудь богатыря, бронзовые острия, как пчёлы, зазвенели, как стекло, рассыпались.

Эрке-каракчи близко-близко к Алып-манашу подскочила, выхватила из кожаных ножен острый меч и с размаху ударила богатыря. От этого удара искры во все стороны рассыпались, как зарницы в небе запылали, как огненный дождь с неба на землю упали. От этого удара звон по всему Алтаю был слышен. А на теле Алып-манаша даже розовой царапины нет.

Девять дней и девять ночей могучие воины секли мечами, колю ножами спящего богатыря, но Алып-манаш остался невредим.

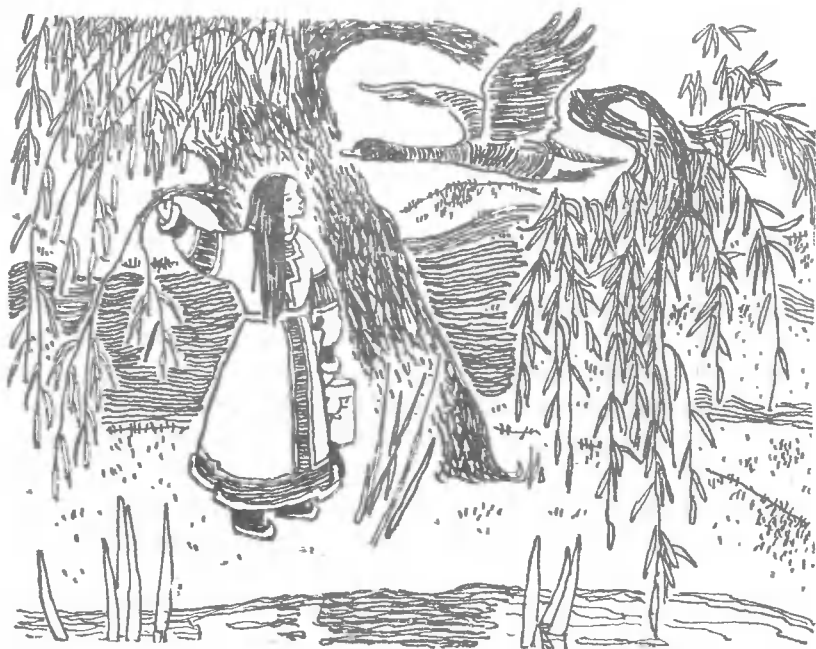
От гнева солнца невзвидел Ак-каан. Он приказал воинам спешиться, вырыть яму глубиной в девяносто сажен.

Воины выкопали яму и толкнули туда Алып-манаша.

Девятью тяжёлыми цепями сковали его белые руки. Девяносто девять цепей повесили ему на ноги.

Оружие богатыря хотел Ак-каан на своё стойбище увезти. Пику сдвинуть ни один воин не смог, меч поднять силача не нашлось.

Долго спал в глубокой яме Алып-манаш. Девятью тяжёлыми цепями скованы руки. Ноги от колен до лодыжек девяносто девятью цепями опутаны. Проснулся Алып-манаш в положенный час, но встать он не смог.



Тяжесть цепей легла на сердце, слёзы глаза обожгли. Алып-манаш первый раз в жизни запел. В песне отца и мать вспомнил, помянул сестру свою Эрке-коо, пожалел одинокую не жену, не вдову Кюмдюжек-аару. И коня своего бело-серого богатырь не забыл, хвалу ему спел.

На холмистом Алтае, на белом, на цветущем, на синем Алтае, на золотом, на просторном Алтае не осталось ни зверя, ни птицы. Толпясь у ямы, как у водоёма, звери и птицы слушали песню.

По небу плыли весенние тучи, летели под тучами серые гуси. Спеша к своим гнёздовьям, гуси всю дорогу плакали об Алып-манаше. Один гусь от стаи оторвался, покружил над ямой, сложил крылья и устал на грудь богатыря.

Алып-манаш взглянул на гуся и вздохнул. От этого вздоха

богатырского лопнуло девять цепей, освободились белые руки. Алып-манаш палец до крови прокусил и на крыле гуся своей кровью начертал:

Гусь ты, славный мой гусь,
Верный ты мой друг!
Ты в воде не тони,
Ты по воздуху плыви.
На твоём крыле я пишу письмо.
Отнеси его Байбараку-отцу.
Про печаль мою расскажи
Ты Эрмен-чечен — доброй матери.
Эрке-коо — сестре поклонись,
Передай привет Кюмюжек-аару,
Жарче солнца привет
Передай ей — жемчужине.
Скажи всем друзьям,
Что Алып-манаш
В чёрной яме лежит,
Он живой в земле похоронен.
Верный ты мой гусь,
Ты воздушный мой конь,
Иноходец ты мой серокрылый!
Полети, поплыви,
Распростёрши крыло,
Дай слова эти всем прочитать.

Серый гусь, распахнув крылья, полетел к стойбищу Байбарака-богатыря.

11

Ещё ночь не ушла, но утро белое, весеннее уже края неба и земли раздвинуло. Зелёная утренняя звезда заглянула в дымоход, и тоненькая Эрке-коо, милая сестра Алып-манаша, проснулась, встала, взяла кожаное ведро и пошла к реке по воду.

Наклонилась с берега к реке, черпнула ведром и увидала в воде отражение серого гуся. Глянула вверх, а серый гусь летал над её головой.

Эрке-коо протянула руки, поймала гуся и принесла вместе с кожаным ведром в свой аил.

Гусь, покачиваясь на коротких плоских лапах, подошёл к костру, поднял крыло, и богатырь Байбарак прочитал начертанное кровью письмо Алып-манаша. Заплакал Байбарак-отец, запричитала Эрмен-чечен-мать, но как Алып-манашу помочь — они не ведали, у кого совета спросить — не придумали.

Чистая жемчужина — Кюмюжек-аару сказала: «Был у Алып-манаша товарищ неразлучный, друг верный — Ак-кобен-богатырь».

И послала Чистая жемчужина своего брата каана Чурекёя за помощью к силачу Ак-кобену.

Едва каана Чурекёя дослушав, Ак-кобен на саврасого коня вскочил и поскакал в стойбище Байбарака-богатыря. У белого айла он спешился, коня к коновязи привязал, сам через порог переступил, поздоровался, серого гуся погладил и прочёл письмо. Лицо его два раза позеленело, два раза посинело, брови сошлись над переносицей.

Байбарак-отец посадил богатыря на почётное место. Эрмен-чечен-мать угостила его лучшими яствами.

Своими руками замесила Эрмен-чечен ячменную лепёшку для Алып-манаша. Когда тесто месила, мизинец до крови укусила.

— Кровь моя материнская, сыну дай ты силу исполинскую, — приговаривала она, пока лепёшка пеклась.

Эту лепёшку, на крови материнской замешенную, слезами посоленную, с наговором испечённую, Ак-кобен за пазуху сунул и поспешил к саврасому коню.

Ак-кобену коня Байбарак-богатырь сам подвёл, стремя старик поддерживать никому не доверил. Ак-кобен в седло вскочил, на весь Алтай закричал-завопил. Саврасый конь поскакал, полетел, копытами травы не касаясь, землю отбрасывая.

Сколько времени саврасый конь скакал, никто не знает. На который день к берегу бурной реки Ак-кобен прилетел — никому не ведомо.

Увидел богатырь берестяную лодку, громким криком белого, как лебедь, старика перевозчика на ноги поднял. Переправился, старику спасибо не сказал. На саврасого опять вскочил и помчался, покрикивая, коня подхлѣстывая.

У края чёрной ямы Ак-кобен коня осадил, сверху вниз на Алып-манаша посмотрел и, как барс, завыл:

— Э-эй! Ты-ы-ы! Письмо твоё я с начала до конца и с конца до начала прочитал. Отцу с матерью в том письме ты поклон прислал, младшую сестру вспомнил, постылую жену не забыл. Лишь для меня не нашёл приветного слова. От меня теперь помощи ждёшь?!

Тут Ак-кобен спешился, обхватил руками большую гору и метнул её вниз, на Алып-манаша. Тяжёлая гора богатыря придавила. Лесистая вершина на сто сажен над ямой возвышается.

Ак-кобен на эту вершину взобрался, на мягкую траву сел, к могучему кедру спиной прислонился, достал из-за пазухи лепёшку, на крови замешенную, слезами посоленную, с наговором испечённую, и съел её.

От этой лепёшки Ак-кобен в десять раз сильнее прежнего стал. Сюда ехал богатырём, а отсюда поскакал героем.

12

У берега бурной реки сидел в берестяной лодке белый, как лебедь, старик. Он не ел, не спал, вестей об Алып-манаше ждал.

Ак-кобен прыгнул в лодку, взял коня за повод, сам от берега оттолкнулся и, голоса не жалея, громко, зычно заплакал:

— Алып-манаш, верный друг, я в живых тебя не застал. Бело-серый конь твой, разметав гриву, на земле лежит. Сам ты, Алып-манаш-богатырь, непробудным сном спишь, уронив голову на рукав.

Седой, как лебедь, старик горьких слёз не сдержал. Иссохшей рукой он достал из своей сумы девятигранную литую стрелу. Литая эта стрела потускнела, красная медь позеленела.

— Да, видать, худо пришлось тебе, Алып-манаш-дитя,—

вздыхнул старик. — Однако острёй у стрелы ещё не затупилось, если стрелу песком потереть, она, как новая, засияет. Если Алып-манашу помочь, он живой встанет.

Ак-кобен, громко Алып-манаша оплакивая, шапкой слёзы утирая, взял из тёмной стариковской руки позеленевшую стрелу в свою белую руку. Из белых рук он стрелу уронил, стрела в чёрной воде потонула.

— Стреле упавшей вновь не засиять, Алып-манашу-богатырю живым не встать! — сказал Ак-кобен.

Выпрыгнул из лодки на берег, легко в седло вскочил, запел-засвистал, повод к стойбищу старика Байбарака повернул.

Вот увидал Ак-кобен: далеко-далеко в синем небе вьётся тонкий, как конский волос, белый дым. А вскоре и стойбище показалось — большой аил, высокая коновязь. Тут Ак-кобен кулаком глаза потёр — громко заплакал. То на одну сторону, то на другую с седла валится, кисточкой своей шапки землю метёт.

Приехал к большому аилу, спешился, голову низко склонил, голосом тихим сказал:

— Алып-манаша-друга я в живых не застал. Бело-серый конь его, разметав гриву, на земле лежит, сам Алып-манаш-богатырь непробудным сном спит, уронив голову на рукав.

Байбарак-отец и Эрмен-чечен-мать свои слёзы со слезами Ак-кобена смешали. Ласковая Эрке-коо-сестра одежду на себе разорвала, косы шёлковые растрепала. Тихо плакала не жена, не вдова — Кюмюжек-аару...

Алып-манаш лежал в глубокой яме, запертый крепко-на-крепко лесистой горой. Сколько раз солнце вставало, он не видал, какие созвездия ночами по небу ходили, он не знал. И когда вдруг звезда сорвалась с неба и, стукнувшись оземь, встала ко-нём, Алып-манаш не услышал.

Громко заржал бело-серый конь, топнул передней ногой,

крепко задней лягнул — тяжёлая гора пополам раскололась. Чёрная земля от звонкого ржания развееялась.

Алып-манаш со дна ямы увидел дно неба.

— Доколе буду здесь в яме сидеть! — воскликнул Алып-манаш.

Разъярясь, цепи рванул, рассвирепев, девяносто девять цепей разорвал.

Конь опустил в яму длинный, как Млечный Путь, хвост.

Алып-манаш вскочил, ухватился за конский хвост, но конь вытащить богатыря из ямы не смог — хвост оборвался.

Бело-серый конь, как бык, замычал, как медведь, заревел. Сквозь леса, по горам, по камням, как олень, побежал. С разбегу ударил копытом по железному тополю. Высокое дерево задрожало, ветвями небо оцарапав, на землю пало. Бело-серый конь притащил дерево к яме и столкнул его.

Алып-манаш обхватил могучими руками крепкий ствол тополя, из ямы вышел, бело-серого коня обнял, заплакал:

— Я тебе плетью круп до кости рассек, рот уздой разорвал, а ты спас меня, верный конь.

Шерсть коня, омытая слезами Алып-манаша, как серебряная, засияла, хвост вырос краше прежнего, заструился, заискрился, будто звёздами пронизанный.

Алып-манаш, прощенья у коня попросив, стал ещё краше. Он поднял своё оружие с земли, вскочил на коня и помчался к стойбищу Ак-каана.

Семиголовый Дьельбеген в своём гнезде на высокой горе сидел. Увидал богатыря, увидел бело-серого коня, вскочил на Тууззи, синего быка, и тоже в стойбище поспешил.

На целый день, на целую ночь опередив Алып-манаша, явился Дьельбеген к Ак-каану:

— Алып-манаш цепи разорвал, из ямы вышел и скачет сюда верхом на бело-сером коне.

Ак-каан созвал ближние и дальние войска, сам на бело-чалом коне впереди всех двинулся. Рядом с отцом скакала на огненно-рыжем коне Эрке-каракчи. Кайчи-песельники позади неё на чёрных иноходцах ехали. Ни на минуту не умолкая, они ей хвалу пели:

Рука твоя, Эрке-каракчи, пусть не дрогнет,
Лук твой, Эрке-каракчи, пусть не колыхнётся,
Стрела, тобой пущенная, пусть не ошибётся,
Меч твой, на звёздах калённый, на ледниках стужённый,
Об луну наводрённый, пусть не притушится...

Услыхав эту песню, Алып-манаш коня поторошил, навстречу несметному войску быстрее птицы полетел. Свистят копыта, гудят мечи, звенят стрелы. Алып-манаш пикой колет — и воины падают, как деревья в бурю, войско редееет, как срубленный лес. Алып-манаш мечом взмахнёт — и падает войско, как скошенная трава. Сраженья такого никто не видывал, о бое таком никто не слыхивал. Бело-серый конь опрокидывал конных, топтал пеших.

Сквозь бесчисленное войско Алып-манаш пробивал себе путь к Ак-каану, чтобы сразиться с ним один на один.

Ак-каан стоял под тысячелетним тополем верхом на своём бело-чалом коне, обнажив острую, как лезвие молодого месяца, саблю.

Будто гора с горой богатыри сошлись, словно молния с молнией, скрестились их сабли, разбились на куски и выпали из рук. Свирило закричав, громко-пронзительно свистнув, богатыри на конях близко-близко съехались, ударились друг о друга их пики. От этого грома горы рухнули, моря вышли из берегов, кони ушли в землю по бабки. Богатыри схватили друг друга за воротники, тут земля и небо покачнулись. Коня ушли в землю по колени, воротники от шуб оторвались.

Алып-манаш левой рукой схватился за пояс Ак-каана и выдернул злодея из седла. Правой рукой он высоко поднял свой

тяжёлый меч и, размахнувшись, рассек пополам тысячелетнее, твёрдое, как скала, дерево, сунул в эту щель Ак-каана, а дерево скрутил узлом, словно пояс.

— Вечно сиди здесь, свирепый Ак-каан,— сказал Алып-манаш.— Семьдесят народов, что ты разорил, пусть идут теперь в свои края, пусть мирно живут.

И когда все народы кочевать на свои земли собрались, Алып-манаш сказал им:

— От свирепой плети Ак-каана вам теперь не дрожать, от коварства Ак-каана не страдать. Но если сами воевать начнёте, меня не зовите, помощи не ждите.

Алып-манаш скачет, вперёд не глядит, назад не оглядывается. Он смотрит на гневную Эрке-каракчи. Брови её изогнуты, как тугой лук, из глаз сыплются молнии. Меч в её руке сверкает, играет, правых и виноватых разит. Грозно взглянул на неё Алып-манаш, и меч упал из её руки, лук, с плеча святой, дрогнул, стрела раньше времени с тетивы сорвалась, под копытами коня переломилась.

Алып-манаш близко-близко к Эрке-каракчи подскочил, рядом с её огненно-рыжим конём своего бело-серого коня пустил.

— Перед небом и землёй всегда вместе быть клялись — клятву ты нарушила. Неразлучными быть обещали — обещанья ты не сдержала. Внезапным сном сражённого меня ты не пощадила, цепями окованного меня ты покинула.

Поднял плетёный лук и ударил Эрке-каракчи.

Слова в ответ она не сказала, на удар ударом не ответила. Хлестнула огненно-рыжего коня и умчалась неведомо куда.

Алып-манаш догнать её не захотел, в полон взять не пожелал, к отважным воинам оборотясь, сказал:

— Я не с вами сражался, на вас не в обиде, дани-выкупа с вас не потребую. Мести моей не страшитесь, догнать меня не надейтесь. Но если в бою доведётся нам встретиться — пощады не ждите, милости не просите.

Алып-манаш повернул поводом коня и поскакал к родному стойбищу.

Алып-манаш прискакал к берегу бурной реки. Бело-серый конь обернулся тощим жеребёнком, сам богатырь превратился в нищего Тас-тарака́я. Кадык впереди подбородка торчит, горб выше головы, косб́нки свесились на глаза.

Но старик перевозчик разглядел под этими космами горячие глаза, узнал их огонь:

— Э-э, Тас-тарака́й, богатырь Алып-манаш не сын ли тебе?

Усмехнулся горбун, старика попросил:

— Дедушка, переправьте меня на ту сторону.

— Э-э, Тас-тарака́й, богатырь Алып-манаш не брат ли твой?

Прыгнул в лодку горбун, жеребёнка за узду тянет.

— Э-э, Тас-тарака́й, о богатыре Алып-манаше неужто ты ничего не слышал?

Отвечает старику Тас:

— Много песен о богатырях народ поёт. Об Алып-манаше спеть нечего.

Белый, как лебедь, старик брови высоко поднял, потом их вместе свёл и сказал густым голосом:

— Теперь о подвигах Алып-манаша песен не поют, потом петь будут.

И вынул старик из своей сумы девятигранную литую стрелу. Она, как солнце, сияла, блеском своим глаза обжигая.

— Эту стрелу мне Алып-манаш подарил. «Жив я или мёртв — по этой стреле узнаете», — сказал. Эту стрелу богатырь Ак-кобен в реке утопил, долго искал я утонувшую стрелу. Три дня назад со дна реки поднял, бурой травой обросшую, позеленевшую. Но сегодня она у меня в руке вдруг, как новая, зазвенела, засияла. Смотри! — Старик потёр стрелу своим рукавом.

Стрела была прямая и светлая, как солнечный луч.

Подожла лодка к берегу. Прыгнул Тас-тарака́й на каменную россыпь и обернулся Алып-манашем. Рядом с ним грызёт удила бело-серый счастливец конь.



Увидав богатыря, старик перевозчик упал на дно лодки, лицом вниз:

— Огонь моих глаз, свет моей груди, Алып-манаш-дитя! Твой друг Ак-кобен сегодня свадьбу справляет. Он Чистую жемчужину в жёны берёт.

Глаза Алып-манаша гневом налились. Снова обернулся он

горбуном Тас-таракаем. Конь опять худым жеребёнком стал. Верхом на этом тощем коньке потрусил Тас-таракай к стойбищу богатыря Байбарака.

16

На широкой поляне, где в зелёной траве золотом горят весенние тюльпаны, услышал позади себя Тас-таракай топот копыт. Обернулся и увидел — это скачет на своём игреневом коне молодой красавец каан Чурекей, родной брат Чистой жемчужины.

— Куда спешишь, Тас? — крикнул каан Чурекей, поравнявшись с худым жеребёнком.

— На великий пир в стойбище Байбарака-богатыря.

— Эй! — крикнул каан Чурекей. — Погиб мой шурия, славный Алып-манащ. Теперь великого ничего больше не увидим.

Тас-таракай голову опустил, слёзы косматыми косицами утирает.

— О чём плачешь, Тас?

— Себя оплакиваю. Был бы я не таков, как есть, мог бы поглядеть на сестру твою Кюмюжек-аару.

— Если моего коня догонишь, сестру мою увидишь, Тас-таракай! Если вместе на пир приедем, на одну кошму с тобой сядем, Тас-таракай! Из одного котла мясо будем есть, из одной чаши араку пить, Тас-таракай! Когда Кюмюжек-аару из аила выйдет Ак-кобенова коня седлать, мы с тобой вместе, Тас-таракай, поглядим на её белое лицо, на её чёрный чегедёк, семью шелками расшитый. Этот чегедек надела она в день свадьбы с Алып-манащем. Этот чегедек и теперь не сняла.

Широкой, лёгкой переступью бежит игреневый конь каана Чурекея, вёрсты копытами меряя. Худой жеребёнок тоже спешит-торопится, на ходу спотыкается. Горбатый Тас жеребёнка

прутиком подстёгивает, ножками-коротышками по ребрам стучит, поторавливает.

Девятилетний игреневый конь каана Чурекея далеко вперёд улетел! Крупной рысью он ровно-красиво неутомимо бежит. Однако тощий лохматый жеребёнок-малыш, хромая да спотыкаясь, борзого коня обогнал, впереди на версту скачет. Каан Чурекей своего скакуна плетью огрел. Игрневый конь, словно беркут, взвился, побежал-полетел, Тас-таракаева жеребёнка стороной обошёл, обогнал, далеко позади себя оставил и всё так же неутомимо впереди бежит.

Жеребёнок кое-как, вприпрыжку, трусит-хромает, головой мотает, ушами перебирает, куцым хвостом оводов отгоняет. Тас-таракай тонкий берёзовый прутик поднял, замахнулся, худой жеребёнок встрепелся, и вот он опять впереди девятилетнего игрневого коня бежит, копытцами постукивает.

Так, забавляясь, резвостью коней своих похваляясь, прибыли в одно время каан Чурекей и Тас-таракай на стойбище Бай-барака-богатыря.

На стойбище людей — как деревьев в тайге, как муравьёв в муравейнике. В котлах лошади, быки и бараны, дикие козлы и олени целыми тушами варятся. Кайчи на дудках-шоорах, на двухструнных тошпуурах, на сладкозвучных камысах играют, густым голосом они громкие песни поют, губами тихо свистят — кукушкам и синицам, шмелям и кузнечикам подражая.

Женщины в круг встали — хороводы водят. Бегуны в быстроте бега соревнуются, борцы силой меряются, всадники конями похваляются. Юноши играми молодецкими гостей радуют. Волками и лошадьми нарядившись, удаль свою показывают. Волк норовит лошадь из табуна угнать, жеребец должен эту лошадь у волка отбить, обратно в табун невредимой пригнать.

А кайчи-песельники горловым суровым голосом петь не устают, о былых временах, былых героев величают, об Алыпманаше они поют: «Никто в беге, бывало, не обгонит его, никто в борьбе, бывало, не осилит его. Ак-кобен — волк, бы-

вало, у Алып-манапша-богатыря никогда лошади угнать не мог...»

Эти песни слушая, Тас-таракай ещё ниже голову опустил. Он мяса жирного не ест, сала тёплого не пьёт, курута копчёного не пробует, мягкой араки не отвеживает.

17

Милая Кюмюжек-аару в белом шестигранном айле сидит. Волосы её, как жемчуг, поседевшие, сиянием серебристым юное лицо озаряют. Её длинные волосы шесть женщин в шесть кос заплетают, красоту невесты песней красивой славят.

Тас-таракай тихо дверь отворил и, стоя на пороге, протяжно-жалобно зашел:

Жемчужные косы
В два ряда заплеташь, Кюмюжек-аару.
Молодого друга
Давно ль ты нашла, Кюмюжек-аару?

Со слезами, чуть слышно, она ответила:

В два ряда косы
Не я плету.
Друга милого
Не я покинула...

Ак-кобен услышал эти песни, вошёл в белый аил, закричал:

— Голову я твою, Тас-таракай, отрежу, к ногам приставлю, ноги оторву, к голове положу! Уходи, пока цел.

Схватил Тас-таракай за шиворот и перебросил через семь гор, за семь морей. Но поднятая рука Ак-кобена ещё не опустилась, а Тас-таракай уже опять здесь, снова он свою песнь густым голосом ведёт:

Из казана с семью ушками
Ак-кобен будет есть.

На постели с шестью полостями
Ак-робен будет почивать.
Из любимой чашки
Алып-манашу чая не пить.
На белой постели
Алып-манашу места нет.

Кюмюжек-аару ответила:

Из золотого казана
Буду добрых людей кормить,
Белая постель с шестью полостями
Для Алып-манаша постлана.

Оттолкнув женщин, Кюмюжек-аару встала, выпрямилась. Её волосы рассыпались, вниз потекли, как жемчужные струи, как светлая вода, лицо заалело, как лесной весенний цветок-огонёк.

Тас-таракай спрашивает:

Если бело-серый конь жив,
Что будет?
Если Алып-манаш жив,
Что случится?

Кюмюжек-аару, глаз не смея поднять, отвечает:

Бело-серому коню
Золотую шерсть приглажу.
Алып-манаша милого
Обниму и поцелую...

Тас-таракай рваную шубёнку с плеч сбросил, плечи распрямил, и вот, рядом с Чистой жемчужиной, сам Алып-манаш-богатырь встал.

Ак-робен посерел от злости, обернулся серым журавлём и улетел.

Алып-манаш пустил ему вслед быструю стрелу. Стрела не убила журавля, только по тени его скользнула и след там свой навсегда оставила.

Алып-манаш злобного Ак-каана победил, Эрке-каракчи-разбойницу наказал, хитрого Ак-кобена перехитрил. Теперь со всего Алтая людей на праздник созвал. Все враждующие племена Алтая помирил, всех в один большой народ собрал.

Вечно в песнях живи, светлый богатырь мой, память о твоих подвигах людей радует, надежду в слабые сердца вселяет, отвагу сильным даёт.





ДЬЕЛЬБЕГЕН И БОГАТЫРЬ САРТАК-ПАЙ

Давным-давно кочевал по Алтаю на синем быке Дьельбеген-людоед. У Дьельбегена семь голов, семь глотков, четырнадцать глаз. От него ни малому, ни старому не скрыться, из его рук ни силачу, ни герою не спастись.

Как одолеть Дьельбегена, люди не знали. И каждое утро, когда солнце, опираясь на вершины гор, всходило на небо, люди молились:

— Великое солнце, помоги нам, погибаем...

И вот однажды стало солнце снижаться, к земле приближаться, чтобы людоеда сжечь. От солнечного жара деревья побуре-

ли, травы сторели, реки и моря высохли. Звери задыхались на бегу, птицы вспыхивали на лету.

И снова взмолились люди:

— О, могучее солнце, пощади нас, горим!

Поднялось солнце на своё прежнее место и пошло по дну неба своей прежней дорогой.

А Дьельбеген семь ртов разинул, семью глотками захохотал:

— Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Теперь я ни одного человека на земле не оставлю, всех съем!

Весь день охотился, а вечером расседлал синего быка, положил седло на землю, опустил на него семь голов и захрапел. От этого храпа горы опускались, долины вздымались, звёзды с неба сыпались.

И когда луна взошла, люди на колени пали, луне взмолились:

— Белая луна, помоги нам, погибаем...

И вот луна стала снижаться, к земле приближаться, чтобы людоеда заморозить. Затрещали от лунного холода кусты и травы, лопнули стволы деревьев, обледенели вершины гор, льдом покрылись моря и реки. Звери падали на бегу, птицы застывали на лету.

Заплакали люди:

— О, луна, пощади нас, замерзаем!

Поднялась луна на своё прежнее место и пошла по дну неба своей прежней дорогой.

Пробилась из-под земли трава, однако не такая большая, как прежде была, выросли деревья, но не такие, как прежде, могучие. Зато Дьельбеген словно помолодел. Ещё свирепее он на людей охотился.

Горевали люди. Ни солнце, ни луна им помочь не сумели.

— Что делать? Где помощи искать?

Но тут из дальней степи вернулся с охоты на родной Алтай Сартак-пай-богатырь. Он мчался верхом на седогривом коне. Его охотничьи сумки были полны добычей.

Сбросил он на землю эти тяжёлые сумки и молвил:

— Эй, люди, если ни луна, ни солнце нам не помогли, мы сами себе поможем!

Хлестнул коня и схватил на скаку Дьельбегена за широкий лисий воротник. Но Дьельбеген уцепился за ствол тысячетлетней пихты. Никак его от ствола не оторвёшь. Синий бык мычал, как сто быков мычат, и ревел, как сто водопадов ревут. Сартакпай одной рукой приподнял быка и перебросил за семь гор, за семь морей. А другой рукой выдернул тысячетлетнюю пихту из земли и зашвырнул её вместе с людоедом на луну.

Вот с тех пор не может луна от земли далеко уйти. Хочет Дьельбеген спрыгнуть на землю, чтобы повоевать с Сартакпаем, да никак не отважится.

Посмотри на луну. Видишь, какие ямы понаделал Дьельбеген своей пихтой. Он и сейчас на луне сидит, спрыгнуть на землю не смеет.





САРТАК-ПАЙ*

На Алтае, в устье реки Ини, жил богатырь Сартак-пай. Коса у него до земли, брови — точно густой кустарник. Мускулы твёрдые, как нарост на берёзе, хоть чашки из них режь.

Когда он охотился, ещё ни одной птице не довелось над его головой пролететь. Он стрелял без промаха.

Быстро бегущих оленей, осторожную кабаргу бил метко. На медведя, на барса он ходил один, крепко держа в руке свою трёхпудовую пику с девятигранным наконечником.

Не пустовали его охотничьи мешки-арчимак, к седлу всегда была приторочена свежая дичь.

Сын Сартак-пая, Адучи-мерген, издалека услышав мерный топот чёрного иноходца, выбегал встречать отца.

Жена сына, сноха Оймók, готовила старику восемнадцать разных блюд из дичи, девять различных напитков из молока.

Но не был счастлив, не был весел прославленный богатырь Сартак-пай. Днём и ночью слышал он плач закатых горами алтайских рек. Напрасно бросались с камня на камень бурные воды, не было им пути к морю. Горько стало Сартак-паю слушать их немолчный стон. И задумал старик пробить алтайским рекам дорогу к Ледовитому океану.

Позвал он своего сына:

— Ты, сынок, иди к Белухе-горе, поищи пути-дороги для Катунь-реки. Сам я отправлюсь на восток к озеру Юлукóль.

Приехал Сартак-пай к озеру, спешился, коня стреножил, в траву пустил, сам на левое колено пал, указательным пальцем правой руки тронул берег Юлуколя, и следом за его пальцем потекла река Чулушман. С весёлой песней устремились к ней все попутные ручейки и речки, все звонкие ключи.

Но сквозь этот радостный звон услышал Сартак-пай плач воды в горах Кош-Агача. Он протянул левую руку и указательным пальцем левой руки провёл по горам русло для реки Башкау́с.

Засмеялась река, убегая с Кош-Агача, засмеялся вместе с водой и старик Сартак-пай:

— Оказывается, левой рукой я тоже работать умею! Однако негоже такое дело левой рукой творить.

Он повернул реку Башкаус к холмам Кокба́ша и тоже влил её в реку Чулушман.

— Теперь ты, Чулушман, будешь водой мелких ручьёв напоена,— сказал Сартак-пай и правой рукой повёл воды Чулушман-реки вниз, к Артыбашу.

Здесь Сартак-пай остановился:

«Где же сын мой Адучи? Почему не идёт мне навстречу?»

— Слетай, дружок чёрный дятел, к реке Катунь, посмотри, куда ведёт её Адучи-мерген.

Чёрный дятел полетел к горе Белухе, и увидел он, что река Катунь быстро-быстро бежит на запад. Недалеко от Усть-Коксы догнал дятел силача Адучи. Тот вёл воду всё дальше.

— Зачем на запад бежишь, Адучи-мерген? — крикнул дятел. — Отец твой уже половину дня ждёт тебя на востоке, в Артыбаше.

— Э-э, поспешил я маленько, ошибся... — молвил Адучи и, нисколько не медля, повернул реку на северо-восток. — Через три дня я с отцом встречусь.

Дятел, не отдыхая, поспешил к старому богатырю:

— Прославленный Сартак-пай, сын ваш сначала ошибся маленько, однако спохватился и теперь бежит за вами. Через три дня он будет здесь.

— Славный дятел, ты мою просьбу уважил, — сказал Сартак-пай, — за это я научу тебя корм добывать там, где ни одной птице его не добыть.

Дятел склонил голову набок, внимательно слушая.

— Не ищи червей в земле, — сказал Сартак-пай, — не лови мошек на лету. Не скачи за гусеницами по тонким веткам. Уцепись когтями за ствол, постучи клювом по коре и крикни: «Киук-киук! Караты-каана сын свадьбу справляет, киук! Наденьте жёлтую шёлковую шубу, чёрную бобровую шапку, скорей-скорей! Караты-каана сын вас на свадьбу зовёт!» И все жучки, мошки, букашки тотчас выбегут к тебе.

С тех пор дятел сидит на стволе, стучит клювом по коре и кормится так, как научил его старик Сартак-пай.

Дожидаясь своего сына, Сартак-пай три дня держал указательный палец в долине Артыбаша. За это время под палец много воды натекло. Длинное Телецкое озеро — это Сартак-паева пальца след.

Наконец-то Адучи-мерген прибежал, Катунь-реку за собой привёл. Теперь Сартак-пай-старик поднял палец, и полилась из Телецкого озера река Бий. Сартак-пай шёл, прокладывая путь Бию, новой реке. Адучи быстро бежал, ведя Катунь. Ни на шаг от старика не отстал!

Вместе влились обе реки — Бий и Катунь — в широкую Обь. И понесла могучая Обь воды Алтая в далёкий Ледовитый океан.

Адучи-мерген стоял гордый, счастливый.

— Сынок,— окликнул его Сартак-пай,— быстро вёл ты реку, но я хочу посмотреть, хороша, удобна ли для людей твоя дорога.

И старик пошёл от Оби вверх по Катунь-реке. Адучи-мерген шагал позади отца, и колени его гнулись от страха: о людях он не думал, когда гнал воду. Вот отец перешагнул через реку Чемал, подошёл к горе Согондү-туу. Лицо его потемнело, брови закрыли глаза.

— Ой, стыд, позор, Адучи-мерген-сын! Зачем ты заставил реку повернуть здесь так круто? Люди тебе за это спасибо не скажут. Плохо сделал, сынок.

— Отец, я не мог расколоть Согонду-туу, даже борозду провести по её хребтам не хватило сил.

Тут Сартак-пай снял с плеча свой железный лук, натянул тугую тетиву, пустил литую медную трёхгранную стрелу. Согонду-туу-гора надвое раскололась. Один кусок упал пониже реки Чемала, и на нём вырос сосновый бор Бешпёк. Другой осколок высится над Катунью. И до сих пор хвалят люди богатыря за то, что дал он воде дорогу прямую, как след стрелы.

Дальше пошли отец и сын вверх по реке. Видит старик — свирепо, быстро бежит Катунь, рушит и рвёт берег.

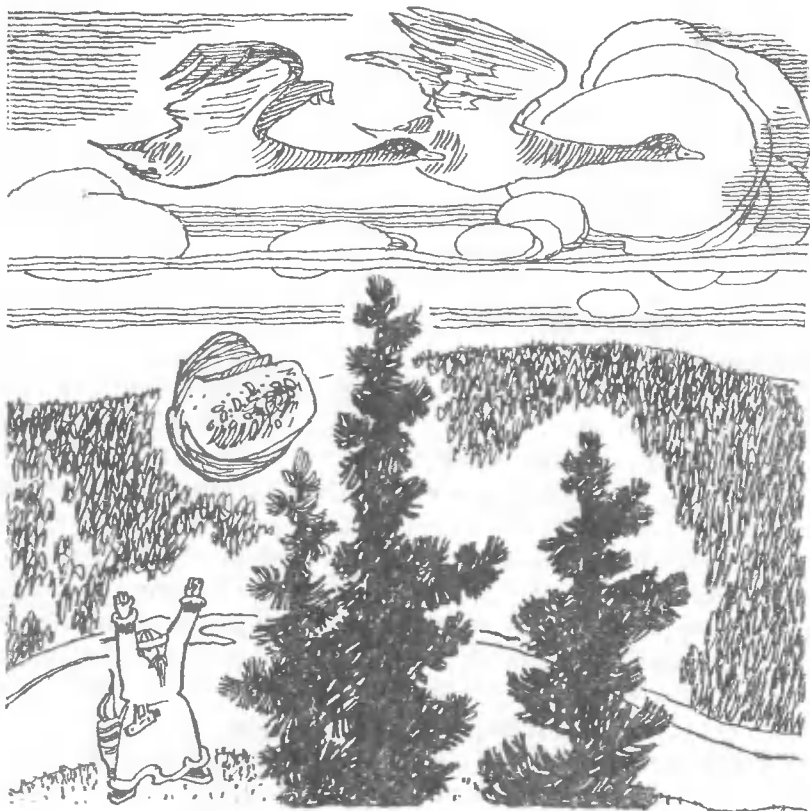
— Как будут люди перебираться с одного берега на другой? Ты опять не вспомнил о людях, сынок Адучи.

У самого устья реки Чобь богатырь опустился на серый камень, крепко задумался: «Как людям помочь?»

— Здесь,— сказал он,— как раз середина реки. Тут мы построим мост.

Покорно молчал молодой Адучи. Он не смел перед отцом сидеть и стоял, качаясь из стороны в сторону, как камыш.

— Пойди домой, отдохни, дитя,— позволил Сартак-пай,— только спать не смей. И жена твоя, Оймок, из уважения к моей работе пусть в эту ночь не смыкает век.



— Неужто, отец, вы всю ночь не уснёте?

— Когда творишь великое дело, сон не посмеет прийти.

Низко поклонившись, ушёл Адучи.

Сартак-пай принялся собирать в подол своей шубы большие камни и скалы. Всю тёмную ночь без отдыха работал старик.

Ветер гнул деревья. В небе дымились чёрные тучи, сверкали молнии, гремел гром.

— Э-э,— усмехнулся Сартак-пай,— молния мне поможет!

Он поднял руку, схватил молнию и вставил её в расщеплённый ствол пихты. При свете пойманной молнии стал старик

строить мост. Он вонзал один камень в другой, и камни покорно лепились один к другому. И когда осталось положить последний ряд, мост вдруг обрушился.

Сартак-пай рывкнул, как медведь, и выбросил камни из подола шубы. Гремя, посыпались они и завалили берег от устья Чобы до устья реки Эдиган. Там они и лежат до сих пор.

От грохота проснулся Адучи-мерген, открыла глаза и жена его Оймок.

— Мы отца ослушались, мы спали в эту ночь!

Испугавшись гнева Сартак-пая, обернулись они серыми гусями и полетели вдоль реки Чуй. Бросил им вслед стопудовый камень разгневанный богатырь. Этот камень упал на Курайской степи, там он и лежит. Сын старика Адучи-мерген и сноха Оймок остались гусями навечно.

Одиноким и печальным, сел Сартак-пай на своего чёрного иноходца и вернулся к устью реки Ини. Его родной аил давно рассыпался, его бесчисленные стада разбрелись, и следы их травой поросли. Сартак-пай расседлал коня, бросил на большой камень войлочный кичим-потник, который всегда был под седлом коня, и, чтобы кичим просох, старик повернул тысяченудовый камень на восток, а сам сел рядом.

Так, обратив лицо к восходящему солнцу, почил вечным сном на своей родной земле прославленный богатырь.

Тут кончается наша десня про Сартак-пая — строителя, про Сартак-пая — хозяина молний, про Сартак-пая — старика.





**ПРО ЗАБЫВЧИВОГО СКАЗИТЕЛЯ,
ПРО РАЗГНЕВАННОГО БОГАТЫРЯ
И ОБ ЭТИХ СКАЗКАХ***

Дело было осенью. Осенние ночи длинные, хорошо такой ночью сидеть в сухом аиле у жаркого костра и слушать песню-сказку. Однажды семь ночей пел сказку знаменитый на Алтае сказитель — кайчи — Чийик Капрайлов. Семь почей сказывал он, струны тошшуура перебирая, великую песнь о богатыре Алтай-куучйне. Семь ночей народ певца слушал. На восьмое утро сел кайчи на коня, к себе домой собрался.

Весь день, не отдыхая, шёл верный конь. Поднявшись на горный перевал, тяжело задышал, рёбра, как мехи, заходили. Чийик расседлал коня, расстелил на земле потник, седло под

голову положил и лёг. Семь ночей не спал певец, и тут, на перевале, сон сразу сморил его. Но едва смежил веки — земля закачалась.

Вскочил Чийик. Вершины деревьев к траве пригнулись, корни к небу поднялись. Тучи небесные на землю опускаются, пыль земная кверху подымается. На вершине горы вспыхивают зарницы, к подножию звёзды сыплются. Это сам Алтай-куучин-богатырь, о котором семь ночей Чийик пел, теперь сюда едет на багрово-рыжем коне. Уши коня по дну неба две глубокие борозды ведут, хвост коня землю метёт. Глаза конские горячей кровью налились, из широких ноздрей бледное пламя вылетает.

Большой, как Белуха-гора, стройно сидит на коне могучий богатырь. Между глаз богатыря тридцать овечьих отар ляжет, на плечи тридцать табунов могли бы встать. Чёрные глаза богатыря гневом горят, румяное лицо потемнело. Близко-близко подъехал Алтай-куучин к Чийику Капраилу:

— Это ты обо мне семь ночей пел?

Чийик языком шевельнуть не в силах, челюсти не отмыкаются. Дрожа, на потник опустился, на колени встал.

— Я спрашиваю, — загремел богатырь, — ты про меня семь ночей сказку сказывал?

— Э-э... да-а, говорил сказку... — голоса своего не слыша, отвечает Чийик.

— Лжива была твоя песнь, не всю правду ты людям сказал. Мою богатыршу-мать воспел, богатыря-отца помянул, подвиги мои славил, врагов моих осмеял. Но, победы мои восхваляя, почему о постыдном бегстве моём ничего не сказал? Забыл ты, как шёл на меня богатырь без лука, без копья, нагой богатырь — без шапки, без сапог? От этого пешего богатыря спасаясь, я коня насмерть загнал, бросив коня, пешком побежал. Ум потеряв, без памяти убегаю, семьдесят семь гор я своими пятками в пыль истолок, море с семьюдесятью заливами в грязь затоптал. Моя тёмная печень от страха оборвалась, моё круглое сердце чуть не лопнуло. Правду как ты посмел от людей утаить?

Чийик голову опустил, из узких глаз слёзы бегут.

Тут Алтай-куучин ремённой плёткой взмахнул...

Кайчи-певец на землю лицом вниз упал. Что дальше было — не помнит, как домой добрался — не знает. Очнулся у своего аила. Повод коня держит, через порог переступить не смеет.

Жена едва узнала его:

— Что с тобой?

— На меня Алтай-куучин-богатырь плеть поднял. Подвиги богатыря воспевая, песни о бегстве его я не спел.

Больше кайчи ни слова не промолвил. Войти в аил он не захотел. Свой топшуур внуку подарил, коня отдал зятю, а сам ушёл в горы. В стойбище он не вернулся.

Вот с тех пор сказители песни петь о богатыре Алтай-куучине опасаются. Лишь четверо прославленных кайчи воспевать Алтай-куучина-богатыря дерзали. Это были мудрый Кыскаш, слепой Каркóп, хромой горбун Каба́к да Павла Васильевича Кучияка родной дедушка — Шонкóр-Сокол.

От дедушки Сокола ввук Кучияк эту великую песню пере-нял, но мне самой песню об Алтай-куучине-богатыре послушать не довелось: Павел Васильевич Кучияк эту песнь спеть не успел, он умер в 1943 году, в войну.

Теперь, как подумаю об Алтае, вспоминаю Кучияка. Как вспомню о Кучияке, будто наяву вижу алтайские пологие, лесистые горы, слышу журчанье ручьёв и ключей, шум бегущих по каменным россыпям быстрых горных алтайских рек.

И вновь возникает перед моим мысленным взором маленький, круглый, как сердце, шалаш. Над шалашом будто дождь шумит — это хвоя тёмно-синего кедра шепчет сказки всем четырём ветрам, и будто сам Коголдей-дедушка у шалаша перед костром-дымокуром сидит. Губами песню он не спеша свистит, густым голосом сам своему посвисту вторит. Сначала он свой звучный топшуур похвалит, потом осторожно, издали, речь о подвигах богатырских поведёт. Долго жалостливо богатырей упрашивает, снисхождения к своей слабой памяти просит...

И мы тоже, как наши учителя-сказители, прилежно, старательно старые сказки повторили, вспомнили, не торопясь рас-

сказали. Чтобы плохого с нами не случилось, чтобы силачи-алыпы не гневались, мы ни одного слова из сказки не выбросили, ничего к песне не прибавили. Мы от дедов и прадедов эти сказки слышали, теперь внукам и правнукам рассказать хотим.

Из прямого дерева
Старательно вытесан
Топшуур мой,
Гудящей кожей обшит.
Из конского волоса
Натянуты говорящие струны.
Два звенящих куска дерева
Хорошо прилажены, прижаты.
Пой, топшуур мой!
Проворного коня волосы туго натянуты.
Звени, топшуур мой!
Со струнами тугими
Разговор повели
Десять пальцев моих.
Слабому голосу,
Верный топшуур, помоги!

Прославленные богатыри! На золотой земле своей мирно кочуйте. Ночью нам, сказителям, не снитесь, днём думою о себе голову нам не тревожьте, ничего худого нам не делайте. В песнях и сказках вечно живите!

1937—1964 гг.





СОДЕРЖАНИЕ

ПРО ДЕДА И БАБУШКУ, ПРО СИНЮЮ КОРОВУ И КАБАРГУ-ЛАКОМКУ*	3
ДИЛ-КЕЛЬ*	8
МАЛЫШ РЫСТУ*	11
КРАСНАЯ ЛИСА И СЫГЫРТАН-СЕНОСТАВЕЦ*	16
СТО УМОВ*	19
НАРЯДНЫЙ БУРУНДУК*	21
ЛЯГУШКА И МУРАВЬИ*	25
ОБИДА МАРАЛА*	28
КОНЬ, КОРОВА И ЗВЕЗДЫ*	31
СТРАШНЫЙ ГОСТЬ*	32
ДОБРАЯ КЕДРОВКА*	36
ДВЕ ОДЕЖКИ*	39
ЖАДНЫЙ ГЛУХАРЬ*	40
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ*	43

КАК БЕРКУТ ЦАПЛЮ НАКАЗАЛ	45
ГОРНОСТАЙ И ЗАЯЦ *	48
КАК ВОРОБЫШЕК ГОРЬКО ПЛАКАЛ	51
ДЕТИ ЗВЕРЯ МААНЫ *	52
ШЕЛКОВАЯ КИСТОЧКА — ТОРКО-ЧАЧАК *	57
БОГАТЫРЬ КУЛАКЧА	64
ЛИСА-СВАХА *	71
КАК ВОЛКИ НА АЛТАЕ ПОЯВИЛИСЬ	78
АК-ЧЕЧЕК — БЕЛЫЙ ЦВЕТОК *	84
ОХОТНИК КАДЖИГЕЙ	91
ЛЕСНАЯ СТАРУХА	94
СЕМЕРО БРАТЬЕВ *	98
ЕР-БОКО-КААН И СИРОТА ЧИЧКАН *	106
АЛЫП-МАНАШ И КЮМЮЖЕК-ААРУ *	118
ДЪЕЛЬБЕГЕН И БОГАТЫРЬ САРТАК-ПАЙ	145
САРТАК-ПАЙ *	148
<i>ПРО ЗАБЫВЧИВОГО СКАЗИТЕЛЯ, ПРО РАЗГНЕ-</i> <i>ВАННОГО БОГАТЫРЯ И ОБ ЭТИХ СКАЗКАХ *</i>	<i>154</i>



Д Л Я Н А Ч А Л Ь Н О Й Ш К О Л Ы

АЛТАЙСКИЕ СКАЗКИ

Ответственный редактор Г. И. Москвская
Художественный редактор Н. И. Комарова
Технический редактор Н. Ю. Крапоткина
Корректоры З. В. Зайцева и Г. С. Мук-
в о з о в а

Сдано в набор 28/XII 1973 г. Подписано к печати
11/VI 1974 г. Формат 60×84^{1/16}. Бум. типогр. № 1.
Печ. л. 10. Усл. печ. л. 9,3. Уч.-изд. л. 7,55.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 1980. Цена 40 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Детская литература». Москва, Центр, М. Черкас-
ский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика
«Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома
Государственного комитета Совета Министров
РСФСР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

А52 Алтайские сказки. Записали и пересказали для
детей А. Гарф и П. Кучияк. Рис. Н. Цейтлина. Изд.
3-е доп. М., «Дет. лит.», 1974.

159 с. с ил. (Школьная б-ка).

О зверях и птицах, о дивных красавицах и могучих богатырях,
защитниках родной земли, сложил алтайский народ чудесные сказки.

70802—433
С М101(03)74 331—74

ФС

Цена 40 коп.

